

Александр ДЮМА

сын



**ДАМА  
С КАМЕЛИЯМИ  
ЕЛЕНА**

«Елена» — роман о судьбе чистой и благородной девушки из высших кругов общества, ставшей женой неизлечимо больного молодого человека. Любовь и самопожертвование Елены сделали то, чего не сумели сделать врачи, — и муж оплачивает ей... неверностью.

---

---

- [Александр Дюма-сын](#)

- 

- [Часть первая](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)

- [Часть вторая](#)

- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)

- [Часть третья](#)

- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)

- [Эпилог](#)

- 

---

---

**Александр Дюма-сын**

**ЕЛЕНА**

*Роман в трех частях*



Любите ли вы романы, начинающиеся таким образом:

«В одно прекрасное утро...»

Или:

«Это было весной, утро было светло и прозрачно», и проч.?

Я так очень люблю. Как-то легко дышится при таком вступлении: вам представляются идеи света и воздуха, вы уверены сразу, что речь пойдет о природе и любви, юности и поэзии.

Вы тоже не любите писателей, которые с первой страницы открывают перед вами царство зимы со всеми его ужасами: вводят вас в мрачную мансарду, от голых стен которой веет могильною сыростью, проникающей вас до костей, и знакомят вас с несчастным семейством, которое силится согреться перед жалкою печью с догорающими остатками дров...

Вы требуете от романистов развлечения в ваши праздные часы, а они, вместо того чтобы вызвать на лице вашем веселую улыбку, разоблачают перед вами жизнь и, сдергивая покровы с действительности, оставляют перед вами мрачные, возмутительные картины нищеты и порока. К этим картинам должно приготовить читателя: чтобы добраться до жалкой мансарды, должно миновать несколько этажей; другими словами: пройти мимо счастливых...

Впрочем, и зима хороша при некоторых условиях...

Теплая, уютная комната, тяжелые шелковые занавеси, пропускающие в нее свет до того нерешительный, что в комнате незаметно, хороша или дурна погода, ясно или подернуто тучами небо; мягкие ковры, весело выглядывающие из рам картины, широкие покойные кресла, зовущие к отдохновению диваны, цветы, хрусталь, мрамор... бойко разгоревшийся и весело озаряющий всю картину каминный огонь, от которого в комнате тепло, как в гнезде; спящая, полуприкрытая батистом и кружевами женщина, не вынужденная холодом безобразно кутаться до самых глаз в ватное одеяло... Если женщина эта молода и если с первого взгляда можно сказать, что она прекрасна — в промелькнувшей перед нами картине, можно примириться с зимой.

Но я остаюсь при своем пристрастии в пользу весны: довольство, разлитое во всей природе, лучше довольства, сосредоточенного в нескольких комфортабельных комнатах; июньская тень лучше декабрьского камина.

Предлежащий роман начинается весной.

В светлое майское утро 1834 г. двое молодых людей гуляли под арками Риволи.

Одинакового роста оба, казалось, они были и одних лет; один из них был блондин, у другого были черные волосы.

Голубые глаза, отсутствие бакенбардов и усов, бледность и кроткое выражение лица сообщали всей физиономии блондина несколько меланхолический характер.

Черные глаза, усы, широкие плечи и твердая поступь человека, обладающего для ежедневной траты неистощимым жизненным запасом, — обнаруживали железное здоровье брюнета. Во рту его дымилась сигара, тогда как блондин не курил. Но лицо его было так же кротко, как и лицо его товарища. Взглянув на этого высокого, сильного мужчину, каждый сказал бы, что это одна из тех щедро одаренных натур, которые отдаются любви

безраздельно, физическими и нравственными силами.

Случалось ли вам встречать подобные натуры? Они способны к выражению привязанности и страсти во всякое время, потому что существование их не угнетается никакими обстоятельствами: у них нет ни привычек, ни припадков тоски, ничего такого, что заставляет других по временам эгоистически сосредотачиваться.

Блондин звался Эдмон де Пере; имя брүнета Густав Домон.

Они были товарищами по коллегии; разность натур, взаимно пополнявших одна другую, укрепила их дружеские связи.

В привычках и вкусах Эдмона, воспитанного матерью, овдовевшей, когда ему было не более трех лет, отражалось что-то женственное.

Густав, круглый сирота с раннего детства, рос под суровым присмотром опекуна-подагрика: в этой школе выработалась его сильная, мужественная натура.

Густав поступил в коллегию семи лет; г-жа де Пере едва согласилась расстаться с пятнадцатилетним мальчиком.

Робкий и скромный характер Эдмона, воспитанного женщиною, нуждался в покровительстве: Густав угадал это и с самого поступления в коллегию сделался его покровителем и другом. Дружба перешла за порог коллегии. Друзья виделись ежедневно.

Густав любил Эдмона, как сына. Они были ровесники, но преимущества его натуры и покровительство, которое он оказывал своему другу в коллегии, будто состарили его в глазах Эдмона, безусловно поддавшегося его влиянию.

Густав не употреблял во зло этого влияния.

— Я на вас надеюсь, Густав, вы не оставите моего сына, — сказала ему однажды г-жа де Пере, и с этих слов Густав начал смотреть на свою покровительственную дружбу к Эдмону как на обязанность священную.

Он замечал иногда с некоторым изумлением тревожные, устремленные на сына взгляды г-жи де Пере. Это случалось в те дни, когда Эдмон был задумчивее и бледнее обыкновенного. В беспокойстве матери Густав почерпнул новую решимость и, сжимая руку г-жи де Пере, сказал ей однажды:

— Не бойтесь ничего; я всегда слежу за ним.

Таковы были отношения наших друзей при начале этого рассказа: искренняя и сильная привязанность с обеих сторон, несколько подчиненная с одной, с другой несколько покровительственная и степенная.

Эти различные оттенки привязанности объясняются обстоятельствами, вызвавшими самое дружбу.

Итак, друзья гуляли под арками улицы Риволи, в ясное весеннее утро, болтая о чем пришлось.

Эдмон остановился и хотел закурить сигару.

— Зачем? — сказал Густав, удерживая его.

— Как зачем? Я хочу курить.

— Тебе вредно курить.

— Вредно курить! Тебе же не вредно!

— Ты и я — большая разница; ты почти ребенок передо мною. А главное, это огорчит твою мать.

Эдмон не отвечал на это ни слова, и друзья продолжали прогулку.

Поворачивая на улицу Кастильонь, они остановились, чтобы дать пройти пожилому

человеку с молодой девушкой.

Несмотря на весну, пожилой человек был одет по-зимнему. На вид ему можно было дать от пятидесяти до пятидесяти пяти лет. Седые волосы, теплый картуз, толстая с черным набалдашником палка, орден Почетного Легиона в петлице и спокойное выражение лица рекомендовали его как человека весьма степенного и весьма в то же время обыкновенного.

Друзья наши едва ли бы даже заметили и его и молодую девушку, если бы не одно обстоятельство...

Девушка шла очень скоро, и Эдмон мельком нашел, что она недурна; Густав смотрел в другую сторону.

Девушке казалось шестнадцать, семнадцать лет; росту она была небольшого; на ней было серенькое платьице, черная шелковая мантилья, соломенная шляпка, в руках зеленый зонтик. Наряд очень простой, ни в каком случае не поражающий.

Эдмон и Густав так бы и не обратили на нее внимания, если бы на улице Риволи, благодаря системе орошения улиц, не было очень грязно.

Девушка оставила руку отца и, чуть-чуть приподняв платьице, стала осторожно переходить на другую сторону.

В это время Эдмон случайно взглянул на нее, и перед ним промелькнули две кокетливо обутые ножки, достойные резца Прадье или кисти Корреджио. Нет ничего привлекательнее хорошеньких ножек.

Не знаю, почему маленькая, едва касающаяся мостовой ножка, белый, плотно охватывающий ее чулок, начинающая округляться линия ноги производят такое могущественное впечатление на мужчину.

Мне даже кажется, что приподнимаемые для избежания грязи платья составляют одно из великих утешений осенью.

Эдмон был подвержен общей слабости: несколько секунд любовался он очаровательными маленькими ножками.

— Заметил ты девушку, что прошла с отцом? — сказал он Густаву.

— Нет, — отвечал Густав.

— Вот прошла! — продолжал Эдмон, указывая на девушку.

— Хорошенькая?

— Очаровательная! Что за ножка! Что за форма ноги! Пойти бы за нею, — нерешительно прибавил Эдмон.

— Зачем?

— Чтоб идти за нею.

— Вот удовольствие! Следовать за девочкой, идущей с отцом!

— Все равно, где бы ни гулять. Отчего ж не иметь перед глазами две хорошенькие ножки?

— Перейдет она грязь, опустит платье, и этих ножек ты уже не увидишь.

— Мы ее обгоним, будем смотреть на нее, после узнаем, где она живет.

— Это еще зачем?

— Так.

— Пожалуй, если тебя это занимает. Делать нам, точно, нечего.

Эдмон и Густав удвоили шаги и скоро настигли девушку и старика.

Войдя в Тюльери, старик надел очки и, вынув из кармана газету, весь погрузился в чтение.

Девушка опустила зонтик и пошла рядом с ним.

Де Пере и Домон следовали за ними, сообщая друг другу свои замечания.

— Не жена ли этого господина? — сказал Эдмон.

— С ума ты сошел!

— У стариков бывают молоденькие жены.

— Ясно, что она незамужняя.

— Вовсе не ясно.

— Ясно, потому что совсем не похожа на замужнюю женщину, ни лицом, ни летами, ничем. Совсем не так держится.

— Во всяком случае, она, верно, очень хороша. Обгоним ее.

— Обгоним.

Друзья прибавили шагу и, несколько обогнав старика с дочерью, обернулись, будто рассматривая гуляющих.

Движение это не ускользнуло от молодой девушки; она опустила глаза, впрочем, без всякой аффектации и жеманства.

— Как хороша! — сказал Эдмон.

— Точно, — заметил Густав, — хорошенькая головка, черные глаза, превосходные волосы.

— Стало быть, мы хорошо делаем, что идем за нею?

— Пожалуй, только к чему же это ведет?

— Ведет к тому, что мы видим хорошенькую женщину, а это не так часто случается.

Эдмон снова обернулся.

На этот раз хорошенькая девушка покраснела. Ей стало неловко от этого преследования. Пожилой господин весь погруженный в чтение, не замечал ничего.

— Не гляди на нее так, — заметил Густав своему другу. — Это конфузит ее.

— Правда, пойдем лучше сзади нее, она не будет знать, что мы за ней следуем, и мы вдоволь на нее насмотримся. Только бы еще где-нибудь было грязно, да жила бы она подальше!

Эдмон и Густав остановились; девушке легко было догадаться, для чего. Она уже их не видела, но чувствовала, что они идут за нею и для нее.

Женщины всегда чувствуют эти вещи!

Девушке захотелось удостовериться в том, что за нею следуют.

Не кокетство ли внушало ей это желание?

Нет, не кокетство, а просто женское любопытство или, вернее, крошечное тщеславие. Девушкам нравится замечать, какое впечатление они производят на проходящих другого пола.

Женщина редко сердится за то, что ее преследуют, особенно если она знает, как наша хорошенькая девушка, что ею не было дано к тому никаких поводов, и если наружность преследователей не обещает ничего неприличного и дерзкого.

Наша девушка, может быть, так и не рассуждала, но говорим еще раз и говорим положительно: на любопытство молодых людей она не досадовала.

Молодым девушкам нравятся эти маленькие приключения: опасного в них нет ничего, а между тем, они приятно волнуют воображение; есть о чем помечтать, есть что порассказать своим подругам...

Нашей героине просто хотелось узнать, все ли еще идут за нею молодые люди. Желание



очень извинительное.

Но как узнать?

Отца нечего бояться: он не заметит; но заметят молодые люди, а это хуже, — они выведут из этого Бог весть какие заключения.

После порядочного размышления девушка незаметно сняла с одной руки перчатку; и еще незаметнее уронила ее; будто не замечая своей потери, она продолжала идти.

Эдмон и Густав видели уроненную перчатку, не подозревая, впрочем, никакого умысла.

— Вот превосходный случай! — сказал Эдмон.

И он побежал за перчаткой именно в ту минуту, когда девушка нашла, что времени прошло довольно и можно показать вид, что потеря замечена.

— Извините, — сказал он, подходя к девушке, кланяясь, возвращая ей оброненную перчатку и в то же время жадно любуясь ею, — вы обронили перчатку.

Девушка вся покраснела и потупилась.

— Благодарю вас, — чуть внятно пролепетала она, принимая перчатку.

Услышав над самым ухом разговор, старик остановился.

— Что случилось? — спросил он, взглянув на дочь.

— Ничего, — отвечала девушка, — я обронила перчатку, и вот господин этот был так любезен, что ее поднял.

Старик кивнул головой Эдмону и, даже не взглянув на него, принялся снова за свою газету.

Воротившись к Густаву, Эдмон был встречен вопросом:

— Ну? Доволен?

— Еще бы, мой милый! Да ведь она очаровательна, она чудо как хороша! А главное, ей, кажется, даже понравилось, что я подошел.

— Чему тут нравится? Самая обыкновенная учтивость.

— И, между тем, знаешь ли: у меня сердце не на месте.

— Очень жаль! Теперь, стало быть, домой?

— Как домой? Нужно узнать, где она живет.

— Ты опять пойдешь за нею?

— Неужто остановиться, когда дело сразу приняло такой оборот?

— Ловко ли после этого случая продолжать ее преследовать?

— Кто ж это узнает?

— Она узнает.

— Каким образом?

— Минут через десять выищет какой-нибудь предлог и обернется. Знаю я этих девочек.

— Тем лучше! Она будет знать, что я все иду за нею.

— Наконец, к чему все это?

— Кто знает!

— Не пойдешь же ты к ней?

— Не пойду.

— Не будешь писать?

— Не буду; но узнаю, где она живет. Стану ходить мимо, и без писем, без разговоров она поймет, что я в нее влюблен, а мне только это и надо.

Да, и, наконец, платоническая любовь в моем вкусе. Верно, она скоро выйдет замуж, а тогда уж другое дело: муж не то что отец, и молодая женщина не то что девушка. Я

постараюсь войти к ним в дом и буду за ней волочиться.

— Далеко видишь!

Между тем отец с дочерью вышли из Тюльерийского сада и направились на Королевский мост.

На Королевском мосту гуляющих каждый день очень много. Хорошенькая девушка сообразила, что здесь скорее, чем где-нибудь, можно обернуться. Украдкой взглянула она назад и в двадцати шагах от себя заметила своих преследователей.

Впрочем и ее любопытство не скрылось от них.

— Обернулась! — сказал Эдмон.

— Говорил я, что обернется, — отвечал Густав.

— Ну, а как она в самом деле замужем?

— За этим старым?

— Нет, она назвала его отцом, — а за другим. Бывают очень молоденькие замужние. Мы, Впрочем, узнаем.

Друзья принялись делать разные предположения. На одном взгляде, может быть ошибочно понятом, на простом размене учтивостей воображение Эдмона воздвигало колоссальное здание надежд самых радужных.

Разумеется, он не решился сообщить Домону эти радужные надежды.

Эдмон не был фатом; напротив, он был замечательно робок и неопытен в любви, а неопытность в этом отношении так же изобретательна, как и нахальство.

Старик с дочерью повернули на длинную улицу, прошли ее всю, повернули налево на улицу Лилль и остановились у дома № 18.

Переступая за порог двери, девушка еще раз взглянула украдкой в сторону и еще раз заметила молодых людей.

«Что они теперь будут делать?» — подумала она.

Она тоже была неопытна в любви. Ей вдруг стало страшно. История с перчаткой показалась ей непростительной с ее стороны опрометчивостью и мало-помалу приняла в ее глазах размеры важной ошибки.

— Она вошла в № 18, — сказал Эдмон.

— Теперь ты доволен? — заметил его приятель.

— Боюсь только...

— Чего боишься?

— Боюсь, что она живет не здесь. Может быть, она так зашла сюда с отцом, к знакомым.

— Очень вероятно.

— Как бы это узнать?

— Ты хочешь узнать непременно?

— Непременно.

— Так расспроси дворника.

— Ну, а если она выйдет из дома, пока я стану расспрашивать?

— Что ж такое? Она увидит тебя, и на этот раз и отец узнает.

— Отец-то не узнает; он даже не смотрел на меня, когда я подавал перчатку.

— Так войдем. Что тут думать! Головы ведь не снимут!

Молодые люди направились к дому. Для предшествовавшего разговора они останавливались.

Во все это время за опущенною занавеской окна выглядывала хорошенькая головка, наблюдавшая за молодыми людьми и с удивлением заметившая, что они подошли к подъезду.

— Есть средство! — сказал вдруг Эдмон.

— Какое?

— Увидишь.

— У вас сдается квартира? — спросил он у привратницы.

— Сдается, сударь.

— На улицу или на двор?

— На улицу.

Расспросив о числе комнат, об удобствах и о цене, Эдмон прибавил:

— Квартира годится; нельзя ли мне посмотреть ее?

Он надеялся встретить молодую девушку, но на лестнице никого не было. Должно было ограничиться расспросами.

— Здесь, кажется, живет пожилой господин с дочерью? — спросил он у привратницы, оглядывая квартиру, очень мало его занимавшую.

— Г-н Дево? — спросила привратница.

— Кажется, так. Дочери его теперь должно быть лет семнадцать: ее зовут... зовут... Жюльеттой... если не ошибаюсь...

— Нет, эту зовут Еленой. Она только что перед вами пришла к себе, вместе с отцом.

— Вот, вот! Теперь я вспомнил: именно Дево. Жена его умерла? — наугад продолжал расспрашивать Эдмон.

— Два года как умерла.

Эдмон бросил на Густава значительный взгляд.

«Сознайся, — выражалось в этом взгляде, — как я ловко взялся за дело».

— Бедная г-жа Дево! — прибавил он вслух.

— Может быть, вам будет угодно навестить их; потрудитесь подняться, они во втором этаже.

— Нет, нет! Зачем? Этим я могу их беспокоить. Я почту себя очень счастливым тем, что буду жить с ними в одном доме. Чем он теперь занимается?

— Все еще доктор.

— Да, ведь у него практика!.. Я думал, он уже бросил.

— Какое! Он постоянно в разъездах.

— Квартира очень удобна, — сказал Эдмон, узнав все, что ему было нужно и собираясь уйти. — Завтра я вам дам решительный ответ.

Привратница объяснила еще несколько удобств квартиры, и наши друзья вышли из дому, обещаясь зайти на другой день.

— Славная привратница! — сказал Эдмон своему другу. — Все выболтала!

— Тонкий дипломат! Узнал все — только как воспользуешься своими сведениями!

— Стало быть, ты не все слышал, что она говорила?

— Может быть; я почти не слушал.

— Этот Дево доктор.

— Ну?

— Ну и я пойду к нему.

— Как пойдешь к нему?

— Посоветоваться о болезни.

— Чьей болезни?

— Моей.

— Да ведь ты здоров.

— Что ж такое! Чем-нибудь выдумаю.

— Так ты не на шутку затеваешь дело?

— Какие тут шутки! Сделаю все, что можно, и оставлю, разве только убедившись в невозможности продолжать.

— В таком случае тебе скоро придется оставить; девушка эта, как мне кажется, воспитана в самых строгих правилах, ухаживания за собою не одобрит, да и отец смотрит за нею.

— Я не забочусь о будущем. Она хороша и мне нравится. Я непременно увижу ее, буду видеть часто, часто посещая ее отца, и она поймет, наконец, зачем я хожу к нему. Не знаю, влюблюсь ли я или нет, но во всяком случае — это развлечение, и такими приятными развлечениями нужно дорожить, особливо если у нас много праздного времени. Прав ли я?

— Прав, — отвечал Густав, и молодые люди еще раз оглянулись на заветный дом, оставшийся уже далеко за ними.

Молоденькая девушка все еще не покидала своего наблюдательного поста.

Всеми свету известны романтические наклонности молодых девушек; нет надобности говорить о впечатлении, произведенном на Елену утреннею встречей.

Она терялась в предположениях и вопросах. Ее интересовало, о чем говорили молодые люди с привратницей.

Это нужно узнать, и она непременно узнает!

Что же и делать девушкам и над чем же изощрять воображение?

После выпуска из пансиона и до замужества, от шестнадцати до восемнадцати лет

включительно, девицы много работают над разрешением великого вопроса любви. Первые опыты редко им удаются: первая любовь почти всегда их обманывает.

Но потребность любить развивается в эти годы чрезвычайно сильно.

Воздушные замки строятся на самых незаметных основаниях и, разумеется, при первом прикосновении действительности рушатся.

Задумчивость и мечтательность возбуждаются самыми приключениями.

Незнание света и людей сообщает особую прелесть этой мечтательности.

Сердце редко принимает в ней участие: действует воображение и из глубины души подымающаяся потребность любви.

Спросите у самой добродетельной женщины, сколько имен до ее замужества отрадно щекотали ее слух, и она поведаст вам три или четыре страсти, волновавшие ее хоть бы в течение одного дня, но непременно казавшиеся ей вечными.

Теперь она смеется над ними, если ей придется встретиться с людьми, их внушавшими.

А сколько теней промелькнет перед чистым зеркалом юного воображения, на мгновение отразившихся и без следа исчезающих!

Кто же удивится, что настойчивость молодых людей занимала Елену Дево?

— Завтра же я увижусь с отцом Елены, — заметил Эдмон.

— Ты уже называешь ее Еленой? — заметил его друг.

— Да ведь как она хороша! Что за ножка? Какая грация в движениях! Какая томность! Я теперь понимаю, что с одного взгляда можно влюбиться, как влюблялись в романах восемнадцатого столетия.

— Я понимаю тоже; только любовь этого рода непродолжительна.

— Отчего?

— Оттого, что здесь влюбляются глаза, а настоящая любовь требует участия рассудка. Истинная любовь развивается от сравнения, от красоты частей, а не от первого впечатления, произведенного целым.

— Может быть, только если бы сейчас я мог сделать Елене предложение, я бы сделал и женился на ней.

— Это уже совсем неблагоприятно.

— Что ж делать, когда я так создан!

— Через два дня ты ее совершенно забудешь.

— Не думаю.

— Сколько раз с тобою бывали подобные истории, и ты говорил точно так же!

— Правда, только мне не попадалось никогда такой девушки. Попадались женщины, более или менее опытные, искусившиеся в науке любви, а теперь встретила девушка, никого еще не любившая.

— Как знать!

— По крайней мере есть вероятность.

— Женщины ни под какие вероятности не подходят.

— Все-таки я узнаю. Это не может пройти бесследно, как тебе кажется, потому что я встречал много женщин одних лет с нею и, может быть, лучше нее, но ни одна из них не производила на меня такого впечатления.

— Мне так Нишетта нравится больше нее.

— Нишетта добрая, миленькая девушка, но не думаю, Густав, чтобы ты стал серьезно

сравнивать ее с Еленой.

— Нишетта именно такая женщина, какую нужно человеку твоих лет: всегда весела, добра, мила и болтлива. Если же ты влюбишься в эту Елену — не может быть, чтобы ты уже был влюблен — выйдет непременно одно из трех: или ты сделаешься ее любовником, или мужем, или она не захочет ни того, ни другого.

Во всех трех случаях для тебя результат один — скука, если даже не несчастье.

Положим, что она согласится быть твоею любовницей, хотя это почти невозможно: не говоря уже о том, что вряд ли это согласно с правилами, в которых она воспитана, за нею неусыпно следит отец. Но положим, она согласилась. Что предстоит тебе? Страдания, потому что вам нельзя будет видеться часто.

Тысяча трудностей и препятствий, требующих постоянного напряжения и изобретательности.

Упреки совести, потому что, совратив с пути долга невинного ребенка, ты не можешь быть нравственно спокоен.

Наконец неизбежное следствие всего этого — охлаждение.

Нравственно утомленный, ты будешь принужден бросить ее — а можно ли бросить доверчиво предавшегося нам ребенка, оставаясь честным человеком?

Выйдет она за тебя замуж — рано или поздно ты согласишься, что сделал глупость. Глупость, потому что жениться на девушке на том только основании, что, переходя через улицу, она подняла платье и выказала при этом хорошенькую ножку, — глупо как нельзя более.

В последнем случае — если тебя отвергнут — с твоим расположением к сентиментальности ты сделаешься современным Вертером: тип превосходный в романе, но в действительности жизни окончательно несносный.

Мимо тебя прошла хорошенькая девушка, с маленькой ножкой и бойкими глазенками; ты пошел за нею, поднял ее перчатку, отдал ей, узнал, где она живет и как ее имя; чего тебе еще надобно? Каких еще последствий можешь ты ожидать от таких пустяков?

— Густав, многое начинается пустяками. Я фаталист и верую в старинное изречение: от причин самых, по-видимому, ничтожных порождаются важные последствия. Каждое обстоятельство имеет смысл в судьбе человека.

Многие найдут в своем прошедшем подобные ничтожные случаи и, определив им настоящее место в ряду событий своей жизни, согласятся, что именно эти ничтожные случаи оказали на их судьбу решительное влияние. Я молод, у меня есть состояние, делать мне решительно нечего; мною руководят мои чувства, а не рассудок, как бы следовало, может быть; но я честный человек и не решусь сделать ничего несправедливого и незаконного.

Я сознательно предаюсь обстоятельствам, приготовленный к бурям и к тишине, — куда вывезут!

Говорю откровенно: я не влюблен в Елену, но утверждаю так же чистосердечно, что теперь меня ничто не занимает так, как она, — и я занимаюсь ею. Мне все равно, что бы из этого ни вышло: любовь или разочарование, горе или счастье, — я на все готов.

— Твое дело! — ответил Густав. — Большого несчастья я не предвижу ни в каком случае. Время теперь летнее, и ты можешь блуждать под окнами своей красавицы, сколько угодно, — даже и насморка не получишь. Мечтай себе вволю и смело на меня рассчитывай, если это приключение примет размеры страсти и я в чем-нибудь могу быть тебе полезным.

Густав и Эдмон пожали друг другу руки и вплоть до улицы Трех Братьев, в которой

жила мать Эдмона, ни разу не упомянули о Елене.

Доведя Эдмона до дому, Густав хотел с ним проститься.

— Ты разве не пойдешь к моей матери? — спросил Эдмон.

— Нет, мне некогда.

— Куда же ты?

— К Нишетте; я уж два дня не видал ее.

— Когда ж мы увидимся?

— Сегодня ж вечером.

— Так до вечера.

Друзья разошлись.

Взойдя на второй этаж, Эдмон позвонил.

— Маменька дома? — спросил он отворявшего ему слугу.

— Дома, — отвечал слуга.

Эдмон миновал обширный, богато убранный зал и вошел в будуар матери.

Женщина средних лет сидела у открытого окна за работой.

На вид ей казалось не более тридцати двух лет, но ей было уже тридцать девять. Она очень походила на Эдмона и была еще так хороша, что казалась скорее его сестрою, чем матерью.

Легкое кисейное платье прекрасно обрисовывало ее стройный стан; часть ее головы прикрывал один из тех крошечных чепчиков-лент, переплетенных кружевами, которые Бог весть каким чудом держатся на головах женщин.

При входе Эдмона г-жа де Пере подняла большие кроткие глаза, и ее лицо оживилось радостною улыбкой.

Мало, если мы скажем: нежность — почти любовь выразилась в этой улыбке.

Постараемся объяснить отношения матери к сыну.

Г-жа де Пере вышла замуж рано, шестнадцати лет. Ей было семнадцать лет, когда родился Эдмон; на двадцать первом году она лишилась мужа.

Выйдя замуж, г-жа де Пере любила мужа по обязанности. Обязанность сменилась привычкой, а потом и привязанностью. Она искренно плакала над могилою де Пере, и, не так как другие вдовы, не думала о новом замужестве, и не воспользовалась предоставленною вдовам свободою.

Но она еще была хороша, очень хороша, и поклонников явилось множество. Ни один из них не был удостоен ее внимания.

Г-жа де Пере была тогда очень молода: потребность любить, вложенная Богом во все молодые, благородные сердца, требовала исхода: Эдмон наполнил собою все сердце матери.

Он был хворым ребенком; ему нужны были материнские, самые нежные попечения. Г-жа де Пере отдалась ему всею душой, без мысли о самопожертвовании, без усилий. Ребенок рос, согретый ее нежностью, не зная других привязанностей, и его природная любовь к матери удвоилась.

Г-жа де Пере отказалась, или почти отказалась, от света: она никуда не выезжала.

Все ее общество состояло из небольшого кружка друзей ее мужа, сделавшихся и ее друзьями. С ними она советовалась о воспитании сына.

Так рос и развивался ребенок.

Только когда ему минуло пятнадцать лет, она уступила, как мы уже сказали в первой главе, настойчивым советам друзей и согласилась отпустить его в коллегия. Лета Эдмона требовали уже образования правильного.

В коллегии она окружила сына самыми предусмотрительными попечениями.

Почти каждый день она его навещала и всей душой полюбила Густава за его привязанность и покровительство своему новому товарищу.

Первое, исключительно женское, воспитание положило в сердце молодого человека первые любвеобильные начала, обратившиеся непосредственно в любовь сыновнюю. Природная мечтательность и тонкое прирожденное чувство поэзии образовали кроткую,



почти женственную натуру Эдмона.

Мать он любил так же, как и она его любила: в ней он видел больше, чем женщину, даровавшую ему жизнь. Независимо от признательности за ее неусыпные попечения, он понял, когда стал рассуждать, как велика жертва, принесенная ему молодой, богатой, прекрасной женщиной, посвятившей всю свою жизнь заботам о воспитании сына.

И молодая мать, любившая одного сына в годы полного развития своей красоты, сделалась первою поверенною юношеских впечатлений Эдмона.

Прямо и чистосердечно открывал он ей первые зарождавшиеся в его душе вопросы, и она сообщала правильное направление его первым инстинктам.

Взаимная откровенность между матерью и сыном сблизила их еще более: Эдмон стал любить г-жу де Пере как первую женщину, внушившую ему привязанность: г-жа де Пере гордилась его красотой и возвышенным образом мыслей — ее же наследием.

Они понимали и любили друг друга, как посторонние: родство только увеличивало и определило их привязанность.

Иногда их можно было принять за жениха с невестой: столько в их отношениях было взаимного доверия, задушевности и самой нежной предусмотрительности.

Часто Эдмон ложился у ног г-жи де Пере и по целым часам любовался ею, расспрашивал об ее молодости, целовал ее руки. Он непременно хотел, чтобы мать выезжала; в свете он гордился ею. Чувства его к матери были выше любви: он обожал ее.

Если Густав хотел отклонить своего друга от какого-нибудь поступка, ему стоило только произнести магические слова:

— Это огорчит твою мать.

В первой главе читатель видел действие этих слов на Эдмона.

Долго любящее сердце Эдмона довольствовалось преизбытком привязанности к матери: время открыло ему новые стороны любви и указало на других женщин; сердце требовало новых, еще неведомых ощущений.

Г-жа де Пере заметила нравственную перемену в своем сыне: точно он сделался задумчивее и мечтательнее, даже будто стыдился новых мыслей своих. Ему казалось, что, предаваясь им, он оскорбляет мать.

Тогда молодая женщина, сознавая необходимость мужского надзора, поручила своего сына Густаву.

— Следите за ним в его первых связях, — сказала она. — Вы его так любите, и его доверие к вам неограниченно. Он так слаб здоровьем и так впечатлителен... Помните, что я его очень люблю. Больше Вам нечего говорить.

С этих пор влияние Густава на своего друга приняло новый, сообразный с намерениями матери характер.

Заметим к слову, что пылкая и сильная натура Густава поддалась обаянию г-жи де Пере: Густав был без памяти влюблен в нее шесть месяцев, с самого поступления Эдмона в коллегию, хотя никогда не выразил ей своего чувства ни словом, ни взглядом. С годами, разумеется, любовь эта рассеялась: в нем сохранилось чувство глубокой преданности и почти религиозного уважения к женщине, впервые взволновавшей его сердце.

В нем осталось от этой любви тихое воспоминание, похожее на аромат цветка, вынесенного внезапно из комнаты. Глаз не видит, рука не осязает, но аромат чувствуется и, незримый, неосязаемый, чувствуется сильнее и приятнее.

Отношения между г-жой де Пере и ее сыном были просты и истинны; она любила Эдмона, как пожилая добрая женщина прекрасного юношу, для которого, назад тому пятнадцать лет, как мать отказалась от рассеянной светской жизни.

Не было ни упреков, ни подозрений в ее кроткой, чуть заметной опеке: не было страха, ни ропота в его сыновней покорности.

Когда Эдмон достиг совершеннолетия, г-жа де Пере хотела дать ему отчет в делах по имуществу отца его.

— В первый раз ты во мне усомнилась, — сказал он ей с легким упреком.

Зимой они стали вместе выезжать на балы. Эдмон любил, чтобы мать его танцевала; г-жа де Пере была счастлива, когда в обществе хвалили ее сына.

Летом они вместе ездили в окрестности и целые вечера проводили вдвоем на чистом воздухе, как влюбленные, ездили верхом, составляли с небольшим числом друзей загородные поездки и развлечения.

Г-жа де Пере, очень мало жившая внешнею жизнью, сердцем была одних лет со своим сыном.

Эдмон плакал при одной мысли, что его матери придет срок состариться и умереть: он не мог отделить идею своего существования от существования матери.

В таком положении были дела, когда Эдмон, после встречи с Еленою, вошел в будуар г-жи де Пере.

По нескольким словам, вырвавшимся у Эдмона в начале нашего рассказа, читатель заметил, вероятно, что герой наш не был совершенно чужд действительной жизни.

Он был сам свидетелем простосердечной любви гризеток; примеры самоотверженной страсти внушили ему сочувствие и некоторое уважение к этим женщинам, вообще не пользующимся в свете хорошою славою.

Особенно поразила его история Нишетты.

Не скрывая ничего от матери, он рассказал ей и эту историю. Она выслушала ее со слезами на глазах и непременно хотела узнать героиню; Нишетта была модистка: предлог найти было очень нетрудно.

Г-жа де Пере очень полюбила ее и, не показывая вида, что знает про ее связь с Густавом, часто разговаривала с нею по целым часам и давала ей дружеские советы, которым Нишетта всегда следовала.

Бедная девушка веровала в каждое слово Густава, а он прямо сказал ей, что г-жа де Пере во всех отношениях превосходная женщина.

Расскажем здесь, как оригинально выразилась любовь Нишетты и отчего к ней так привязался Домон.

Года за два до нашего рассказа, поутру часов около восьми, Густав, имевший обыкновение вставать рано, проходил мимо цветочного рынка. Женщина в простеньком, но кокетливо сшитом ситцевом платье, в маленькой соломенной шляпке и в меринсовой шали, превосходно обрисовывавшей ее прекрасно развитые формы, останавливалась перед каждою лавкою, осматривала весь цветочный товар и, будто не находя что ей нужно, продолжала идти, не обращая внимания на приглашения торговки:

— Что вам угодно, сударыня? Пожалуйста, у нас всякие цветы есть.

Густав издали заметил эту разборчивую покупательницу и, когда она почти подошла к нему, нашел ее очаровательною. У нее были черные, с изумрудным отливом глаза, белый, как молоко, цвет кожи, несколько вздернутый носик, свежие и, как вишни, алые губы, ямочки на щеках и на левой щеке родимое пятнышко.

Но что особенно поражало в ней, кроме ее больших глаз и черных, ровно выведенных бровей, — это волосы.

Белые и мягкие, как пряжа, они постоянно казались будто освещенными косвенными лучами солнца и, мелкими завитками облекая всю ее головку, сообщали ей красоту, которую только Ватто умел придавать своим пастушкам.

В подвижности всей ее фигуры, в мягкости и тонкости очертаний было что-то кошачье. Густав бессознательно остановился и залюбовался этим очаровательным созданием. Казалось, лучшая мечта художника отделилась от полотна и ждала только нового Пигмалиона, чтобы затрепетать жизнью и любовью.

Ей было не более девятнадцати лет.

Не купив ничего, она дошла до последних лавок и, сообразив, вероятно, что наконец нужно же решиться, остановилась перед одной торговкой, у которой, впрочем, цветы были нисколько не лучше, чем у других.

Густав тоже остановился, будто для покупок.

— Почем этот розовый кустик? — спросила хорошенькая женщина, показав свою маленькую, обтянутую лайковой перчаткою ручкой на один из горшков с розами, симметрично расставленных на прилавке.

— Сорок су, — отвечала торговка.

— Ой, как дорого! — вскрикнула гризетка.

— Зато, девушка, самый лучший кустик. Посмотрите, какие цветы, все эти бутончики через два дня зацветут. У вас будут розы все лето.

— Полноте! Там у вас известка внизу, уж я знаю. Завянет через неделю.

— У нас есть розы и подешевле; посмотрите, если желаете. А известки в моих горшках нет! У нас нету этого и обычая. Возьмите подешевле.

— Нет, если я и возьму, так тот; а сорока су не дам.

Густав стал прислушиваться.

— Сколько ж вы даете?

— Двадцать су.

— За тридцать я уступлю.

— Двадцать.

— Дешевле тридцати в убыток себе продать.

— Как хотите. Не уступаете?

— Как же можно еще уступить?

Гризетка хотела уже уйти, но к ней подошел Густав и, вежливо приподнимая шляпу, сказал:

— Позвольте мне предложить вам этот розан; вам, я вижу, так бы хотелось иметь его.

— Извините, я не могу согласиться, — отвечала, вся покраснев, Нишетта. — Я не имею чести вас знать.

— Это будет прекрасным поводом к знакомству.

— Так вы с этим условием дарите мне розан?

— И не думал этого; я у вас не прошу ничего, кроме позволения предложить вам этот

розан и другие, какие понравятся вам, цветы.

Нишетта взглянула на Густава и улыбнулась. Торговка знаками ей показывала, чтоб она согласилась.

— Заплатим пополам, — сказала гризетка.

— Позвольте мне заплатить одному, это не разорит меня. Опять повторяю вам, что розан в сорок су, разумеется, ни к чему вас не обязывает.

— Хорошо, я возьму. Дайте сюда розан, — сказала она, обращаясь к торговке.

Торговка с жадностью схватила деньги, а Нишетта взяла горшок под мышку.

— Я прикажу снести его к вам, — заметил Густав.

— Лишнее беспокойство.

— Так позвольте мне, в таком случае...

— Я донесу сама.

— Может быть, вы не так близко живете?

— На улице Годо.

— Можно мне проводить вас?

— Согласившись принять от вас розан, отчего ж не согласиться идти с вами?

Разговаривая, молодые люди дошли незаметно до улицы Годо. Разговор в таких случаях обыкновенный: любопытство и расспросы мужчины, некоторая недоверчивость и сдержанность женщины.

Дойдя до своих ворот, Нишетта протянула Густаву руку, просто поблагодарила его и хотела скрыться.

— Позвольте мне время от времени навещать вас? — сказал Густав.

— Когда вам угодно; я по целым дням дома, всегда работаю.

— Можно вас застать от двух до четырех?

— Во всякое время.

— Спросить вас?

— Спросите Нишетту. Это мое ненастоящее имя, но меня все зовут так: говорят, что я похожа на кошку.

Густав поцеловал руку Нишетты; она побежала за ключом и потом весело вспорхнула на свой пятый этаж.

На следующее утро он не преминул к ней явиться: она сидела за шляпкой у открытого окна, на котором величественно благоухал знакомый Густаву розан.

Нишетта не имела таких притязаний на добродетель, как Риголетта Эжена Сю; она была добрее; любовь была ей уже знакома — недавно и потому не так много, — но все-таки знакома.

Она не скрыла от нового знакомого своего прошедшего, и Густаву пришла очень естественная в его положении мысль:

«Если другие имели успех — отчего ж не попробовать мне?»

Нишетта в полном смысле была пленительна; живя почти исключительно сердцем, она жила как пришлось и сама не знала, чего хотела. Нравились ей и шум публичных балов, и деревенская тишина, и усидчивая работа, и разорительные наряды.

— Мне не нравится только одно, — говорила она, — слишком продолжительная любовь.

— Так любите меня, — сказал ей Густав, — как хотите и сколько вам угодно. Надоем я вам, и я не останусь ни минуты.

— Знаете что? — вкрадчивым голосом сказала Нишетта, окинув его бойким взглядом. — Заключим контракт. Будем любить друг друга, пока не отцветет этот розан. Там известка внутри, но это ничего: я буду поливать каждый день.

Густаву это показалось очень оригинальным, и он согласился.

Он каждый день и во всякое время стал ходить к Нишетте: прошло шесть месяцев, розан не увядал, Нишетта в точности соблюдала условия.

Мысль, что розан скоро увянет, сильно его тревожила, так он привязался к гризетке: он боялся, что с последним листочком улетит и ею счастье.

Розан цвел с изумительной продолжительностью.

Проходя однажды мимо цветочного рынка, Густав остановился, чтобы купить букет у торговки, продавшей ему неувядаемый розан.

— Помнишь, — сказал он, — розовый кустик, что торговала молодая дама и я купил?

— Как не помнить! — отвечала узнавшая Густава торговка.

— Цветет еще.

— Какое цветет! — возразила со смехом торговка. — Если бы цвел, дама эта не покупала бы еще четыре раза точно такие же розаны. Сама сказала, что ваш увял уж давно.

Густав понял причину неувядаемости розана. Строго придерживаясь условий контракта, Нишетта при первых признаках увядания выбрасывала растение и заменяла его новым.

Четыре раза она уже совершала эту операцию, а Густав и не подозревал хитрости. Она страстно любила Густава и боялась, что он ее бросит.

Домон побежал на улицу Годо, бросился Нишетте на шею и расцеловал ее.

Она призналась ему во всем, и с этого дня они уж не расставались.

Рассказ об этой привязанности тронул Эдмона: он познакомился с Нишеттой и, коротко сблизившись с нею, стал уважать ее безгранично.

Преданность Нишетты другу своего Густава оправдала вполне это уважение.

Часто проводил Эдмон вечера на улице Годо, в скромной квартирке Нишетты, вкус и привычки Густава сообщили уже которой несколько комфорта и роскоши.

Нишетта постоянно сидела за работой, наклоняя свою хорошенькую головку то на ту, то на другую сторону, чтобы видеть сделанное ее иглою.

В эти минуты она была похожа на пастушку, кокетливо смотрящуюся в чистое зеркало озера.

Густав требовал, чтоб она не жалела денег на наряды, и ее золотые волнистые волосы, прикрытые самыми прихотливыми чепчиками — сплетением кружев, лент и тюля, — казались короной, венчавшей ее хорошенькую головку.

Г-жа де Пере знала, что эта связь вечно не может продолжаться, но чистая любовь Нишетты до того ее тронула, что она почла долгом быть внимательной и даже несколько покровительствовать женщине, любимой другом ее сына.

Г-жа де Пере была слишком чиста и потому выше предрассудков: не показывая виду, что ей известны отношения Густава к Нишетте, она полюбила ее, как дочь, тактом умной женщины совершенно сгладив резкое различие в их общественном положении.

Добрая девушка, понимая всю ее деликатность, готова была за нее в огонь и в воду.

Войдя в будуар матери, Эдмон поцеловал ее руку и по обыкновению сел у ее ног на подушке.

— Где ты был сегодня? — спросила г-жа де Пере.

— С Густавом гулял.

— Отчего же он не зашел сюда?

— Он отправился на улицу Годо; вечером он будет.

— Что с тобой? — спросила г-жа де Пере после некоторого молчания. — Ты как будто озабочен?

— Ты угадала, маменька, — отвечал он.

— Что случилось?

— Ради Бога, не бойся, не случилось ничего дурного; так, самое обыкновенное приключение.

— Расскажи, что такое, — сказала г-жа де Пере, снова принявшись за свое вышивание и пригласив слушать.

Эдмон рассказал утреннее приключение.

— И ты говоришь, эта девушка хорошенькая? — сказала г-жа де Пере.

— Чудо как хороша!

— Блондинка?

— Нет, брюнетка.

— Она будет обожать тебя, если вы познакомитесь.

— Отчего ты так думаешь, маменька?

— Я бы посмотрела, как она не полюбит моего Эдмона! Но, мой друг, не надейся на глупостей.

— С какой стати я буду делать глупости? И какие?

— Какие всегда делают влюбленные.

— Но я ведь еще не влюблен.

— Влюбишься.

— А если влюблюсь, ты не будешь на меня сердиться?

— Когда я сержусь на тебя, друг мой? Если ты ее любишь и она полюбит тебя и если это порядочное, честное семейство, ты сделаешь предложение ее отцу; он, разумеется, с радостью согласится, и у меня, вместо одного, будет двое детей; одного из них, впрочем, я всегда буду любить больше.

— Как все это у тебя живо, добрая маменька!

— Все это так просто; я же вышла замуж, почти не зная твоего отца; отчего ж тебе не жениться на девушке, которая нравится?

— Как ты добра!

— Но, смотри: будь со мной откровенен.

— Когда я не был откровенен с тобой?

— Что теперь думаешь делать?

— Явлюсь завтра к Дево.

— Под каким предлогом?

— Под предлогом болезни; он доктор.

Г-жа де Пере вдруг побледнела при этих словах.

— Что с тобою? — спросил испуганный Эдмон.

— Ничего, друг мой, ничего... только, знаешь ли... выдумай что-нибудь другое... другой предлог...

— Отчего ж не этот?

— Так... я мнительна...

— Да чего же ты боишься, маменька? Я здоров как нельзя лучше.

Г-жа де Пере крепко обняла сына; в ее глазах были слезы.

— Ну вот ты и плачешь!.. — сказал Эдмон, встав перед ней на колени и взяв ее обе руки. — Зачем плакать? Разве я огорчал тебя?

— Я не плачу, мой друг. Но я вспомнила, что ты, может быть, женишься, и мне грустно стало при мысли, что будешь любить другую женщину больше меня.

— Больше тебя! Можешь ли ты это думать!

— Не говори этого, друг мой. Был бы ты только счастлив: со мною, как сын, или с другой, молодой женщиной, — вот все, о чем я молю Бога.

Не от этой мысли брызнули слезы из глаз г-жи де Пере; если б от этой — ей было бы трудно при самом начале рассказа.

Какими же опасениями взволновалось сердце молодой матери?

Она сделала над собой усилие и, стараясь, чтобы Эдмон забыл ее неожиданные слезы, принялась за работу, переменила разговор и через несколько минут была уже весела.

Но Эдмон знал характер своей матери: он понял, что ее веселость была притворна и что под этой веселостью шевелилось какое-то тяжелое, непонятное ему чувство.

Вечером г-жа де Пере, отведя Густава в сторону, сказала ему:

— Постарайтесь, чтобы Эдмон не ходил завтра к Дево.

Густав провел целый вечер у г-жи де Пере. Она хотела остаться с ним наедине и для этой цели удалила сына, попросив его найти ей какую-то книгу.

— Эдмон все рассказал вам? — спросил Густав мать своего друга.

— Все.

— И сказал, что завтра пойдет к г-ну Дево?

— Да, и мне бы хотелось это отклонить.

— Я бы тоже хотел и, вероятно, по одним причинам с вами.

— Как вы добры, Густав, — сказала молодая мать, протянув руку Домону, — и как счастлива я, что у моего сына есть такой друг. Вы понимаете, как это свидание с новым доктором меня беспокоит. Вы знаете, что его отец страдал грудью; так и умер. Говорят, это болезнь наследственная, и я всегда опасалась за Эдмона. Как я его воспитывала, какой присмотр за ним был всегда — вам все известно. Я скрывала всегда от Эдмона настоящую причину смерти отца его — он так впечатлителен...

Вдруг этот доктор найдет в нем признаки этой болезни! По лекарствам Эдмон догадается, отчего у него так часто бывает кашель, одышка, поймет настоящую причину своей слабости, неожиданных припадков грусти... Это были ведь первые симптомы болезни, уложившей моего мужа в могилу. Я не успела еще совершенно от них избавить Эдмона... Ну, как он все узнает? Вот чего я страшусь, Густав.

— Но ведь ваш доктор говорит, что бояться нечего?

— Он только раз сказал мне, — Эдмону еще не было шести лет: «Берегитесь за грудь этого ребенка». Разумеется, это предостережение страшно меня поразило; он заметил и после того — ни слова.

— Стало быть, исчезла всякая опасность. Вы за Эдмоном так ухаживаете, что если бы и таилось в нем начало этой болезни — его давно уже нет. Я три года был с ним в коллегии, постоянно следил за ним; вот уже пять лет по выпуске вижу с ним почти каждый день и не замечал во все это время ни одного из симптомов, которых вы боитесь.

— Да, но вы сами сказали, что по одним причинам со мною не хотели бы, чтоб он виделся с г-ном Дево.

— Не хотел бы, потому что знаю ваши опасения, хотя и не вполне разделяю их; знаю, что Эдмон слабого здоровья, и не хотел бы, чтоб ему сообщил это чужой. Я совсем не знаю этого Дево; что у него хорошенькая дочка, это не мешает ему желать прибавить себе практики; он, пожалуй, не приготовив Эдмона, скажет ему: «Вы опасно больны», — может быть, даже солжет. Эдмон так всем поражается, так все легко принимает, что, совершенно здоровый, от слов «Вы больны» может захворать в самом деле. Мысль у меня одна с вами, но я опять-таки не разделяю ваших опасений.

— Вы меня хотите разуверить, Густав; я это вижу и очень вам благодарна: но вы сами боитесь за него — я знаю. Вы следите за ним, как отец. Мать, разумеется, не может везде сопровождать взрослого сына: там, где кончается мое влияние, начинается ваше. Вам я обязана тем, что у Эдмона нет пороков, нет даже привычек, вообще свойственных молодежи: он не играет, не курит, не пьет, не предается никаким излишествам. Кому, как не вам, обязана я всем этим, и нужно ли говорить, как сильна моя за это признательность?

— Знаете ли, каким магическим словом удерживаю я Эдмона от всего, что ему вредно?



— Нет.

— Мне стоит только сказать ему: «Эдмон, это огорчит твою мать».

— Он так меня любит?

— Он обожает вас.

— Доброе дитя! — сказала г-жа де Пере. — А как я его люблю! У него еще могут быть развлечения, а у меня, кроме него, ничего нет. Я не живу без него: двадцать лет вся моя жизнь посвящена ему исключительно. Посудите же, Густав, как должна быть мучительна для меня мысль, что он заражен тою же болезнью, которая раньше тридцати лет свела в могилу отца его?

— Чтобы убедить вас, что все ваши опасения напрасны, позвольте мне дать вам совет.

— Добрый Густав, убедите меня.

— Вы никогда не советовались с вашим доктором об Эдмоне?

— Никогда.

— Так пусть он пойдет завтра к Дево; вечером я пойду к нему сам и узнаю истину.

— А если он скажет, что положение Эдмона, точно, опасно? Нет! Лучше уж сомневаться! Открытие это убьет меня. Я так боюсь за справедливость своих подозрений, что если бы завтра же Эдмон захворал, я бы не решилась послать за доктором. Они так хладнокровны, так привыкли к страданиям.

— В таком случае, я употреблю все меры, чтобы Эдмон не ходил к Дево.

— Благодарю вас.

— Не говорю наверное, но, кажется, он твердо решился продолжать начатую интригу.

— Все-таки попробуйте.

Через несколько минут после этого разговора Эдмон вошел с книгою, которую спрашивала мать.

Веселое и довольное лицо его, казалось, противоречило высказанным матерью опасениям, если не разрушало их вполне.

— Ты, верно, скоро шел? — сказала г-жа де Пере.

— Да, почти бежал.

— И не чувствуешь одышки?

— Нисколько.

— Стало быть, это тебе ничего... скоро ходить...

— Разумеется, ничего. Вот книга.

— Хорошо, друг мой. Спасибо.

Поцеловав сына в лоб, г-жа де Пере взяла его руки.

— Твои руки горят, — сказала она.

— У меня всегда теплые руки.

— Ты здоров ли?

— Как не надобно лучше. Ты знаешь, что я никогда не хвораю.

Нет надобности объяснять, почему после разговора с Густавом г-жа де Пере так заботливо допрашивала сына.

«В самом деле, я мнительна», — думала она, не спуская с Эдмона глаз, внимательно наблюдая за его взглядом, цветом лица и дыханием.

Эдмон был несколько бледен, но весел и спокоен.

Густав значительно и с некоторым торжеством взглянул на г-жу де Пере.

В ответ на его взгляд она тихо улыбнулась. В этой улыбке можно было прочесть:

«Вы правы. Опасаться, по-видимому, нечего».

Собираясь уходить, около одиннадцати часов Густав сказал Эдмону:

— Мне бы нужно поговорить с тобой.

— Приходи завтра.

Ты не уйдешь до моего прихода?

— Нет, только приходи пораньше.

— Я буду в двенадцать часов.

— До двенадцати буду ждать.

На другой день в девять часов утра Эдмон ушел, оставив на случай, если придет Густав, записку такого содержания:

*«Друг Густав, вчера вечером мать послала меня за книгою, я ходил к Дево и узнал от привратницы, что он принимает от девяти до двенадцати и потом от трех до пяти.*

*До двенадцати мне решительно нечего делать: я пошел к Дево и по возвращении на целый день твой. Тебе, верно, понятны мои беспокойство и нетерпение».*

Эдмон отправился на улицу Лилль, размышляя всю дорогу о том, могут ли доктор и его дочь проникнуть под вымышленным предлогом настоящую цель его посещения.

«Что сказать, когда он спросит, чем я болен? Скажу первое, что придет в голову: головные боли, нервные страдания, кашель; он что-нибудь пропишет, прикажет больше ходить, и я буду себе ходить к нему каждый день с донесениями, что мне, слава Богу, лучше. Это польстит его самолюбию, и мы подружимся».

Впрочем, Эдмон не был совершенно спокоен, зарождавшаяся страсть волновала его.

Молодость и красота Елены сильно и решительно поразили его воображение; сердце его чувствовало потребность привязанности, выходящий из ряда вседневных связей, более чистой и возвышенной: как Павел или Вертер, он искал наслаждений в любви, которой можно отдаться всем существом, в любви трудной и почти невозможной.

Своих сокровенных мыслей он не сообщал Густаву: человеку трудно в них сознаваться.

Ему не столько нужна была женщина, сколько идеал, в мечтах и надеждах для него было более привлекательного, чем в самом наслаждении и уверенности.

Любимая женщина должна была существовать для него в действительности, как точка опоры его воображению, как исходный пункт его иллюзий, как истинная мысль для художественного, богатого вымыслом и красками произведения.

Требованиям этим могла удовлетворить только первая любовь молодой девушки.

Оставалось решить, любит ли его Елена, в нем самом были уже все задатки влюбленного, потому что в любви ему нравилась самое любовь.

До сих пор две привязанности разделяли его сердце: мать и Густав. Пришла пора, и его сердце уже не удовлетворялось этими привязанностями: требовалась третья, никаким образом, впрочем, не способная возбудить в первых ревность, потому что ее характер и самое происхождение не одинаковы с ними.

Мы уже сказали, что, несмотря на сильную потребность любви, Эдмон никого еще не любил: так далеки были встречавшиеся ему женщины от составленного его воображением идеала.

Елена произвела на него решительное впечатление.

Дойдя до улицы Лилль, Эдмон с волнением, весьма в таком случае естественным, позвонил у дверей доктора.

— Г-н Дево дома? — спросил он у отворившего ему слуги.

— Он занят с больными, — отвечал слуга. — Если вам угодно подождать, я вас уведомя, когда он будет свободен.

Эдмон вошел в зал, мрачный, холодный зал, убранный во вкусе времен Империи.

Столовые часы изображали Сократа, принимающего яд; на стенах развешаны были гравюры — Велизарий, Гомер и Гиппократ, отвергающий дары Артаксеркса. Канделябры с львиными лапами, кресла со сфинксовыми головами, экран и подушки, очевидно вышитые дочерью, заваленный книгами стол, бронзовая люстра, маленькие столики между окнами и между дверями — на одном раковины и нанизанные на булавки насекомые, на другом фарфоровая группа, изображающая Аполлона и девять муз, — вот все убранство комнаты, в которой остался Эдмон.

Полное спокойствие царствовало в этом зале. Можно было сказать, что сюда входят только люди степенные, важные, оставляющие за собою особую атмосферу науки и торжественности.

«Может быть, она зачем-нибудь войдет сюда», — промелькнуло в уме Эдмона, но никто не входил, все было тихо по-прежнему.

Эдмон не сомневался, что одна из дверей зала вела в комнату молодой девушки и что в ту минуту она была у себя.

«Думает ли она, что человек, следивший за нею вчера, так близко от нее сегодня? Верно, нет», — мысленно рассуждал он.

И он ошибался. Елена видела, как он накануне разговаривал с привратницею, и не сомневалась, о чем шел разговор между ними; у привратницы она не спрашивала ничего, но с этой минуты расспрашивала слугу о наружности всех, входивших к отцу ее.

Елена знала уже о посещении Эдмона, тотчас по его входе, и, пока он рассуждал, смотрела на него в замочную скважину.

«Что он будет делать?» — думала она, и несколько раз рука ее бралась за ручку двери, и она совсем готова была войти в зал, чтобы видеть, какое действие произведет на молодого человека ее появление, но каждый раз рука ее тихо опускалась под влиянием чувства неопределенного страха.

Минут через десять по приходе Эдмона слуга снова вошел.

— Доктор просит вас в кабинет, — сказал он.

В кабинете было большое бюро, книжный шкаф, бюст Гиппократа, глобусы, стол с хирургическими инструментами, стулья, кожаное кресло, в котором сидел г-н Дево, корзина с ненужными бумагами под столом, столовые часы на палисандровом пьедестале, ящик того же дерева, книги и бумаги на столе.

На бюро было разбросано множество писем.

Г-н Дево был в длинном домашнем сюртуке; в петличке красовался орден Почетного Легиона. Доктор писал. При входе Эдмона, он переложил ногу на ногу, одною рукой оперся о колени, другою поправил очки, пристально посмотрел на вошедшего и попросил садиться.

— Чем могу быть полезным? — сказал он.

— Не имея чести знать вас... — начал Эдмон запинаясь.

— Точно, я нигде, кажется, не встречал вас.

— Вы меня не встречали, но ваша обширная известность несколько оправдывает мое неожиданное посещение.

— Вы больны? — спросил доктор.

— Болен, — отвечал Эдмон, — или, лучше сказать, чувствую, что болен, но не могу определить ни болезни, ни ее причины.

Доктор внимательно осмотрел своего нового пациента.

— Желудок у вас не расстроен? — спросил он.

— Кажется, доктор, расстроен.

— Часто бывают головные боли?

— Бывают.

Эдмон отвечал наугад, чтобы что-нибудь отвечать. Дево продолжал расспрашивать.

В эту минуту Елена приложила ухо к двери, любопытствуя узнать разговор отца с молодым человеком.

Любопытство ее не удовлетворилось: расслышать нельзя было ничего.

— Покажите пульс, — продолжал Дево.

Эдмон снял перчатку и протянул ему руку, едва удерживаясь от улыбки при мысли, что доктор говорит с ним, не подозревая мистификации.

— Вы ни разу не были больны? — спрашивал доктор.

— Ни разу.

— Кашляете?

— Да.

— Постоянно чувствуете жажду?

— Да, — отвечал Эдмон, очень довольный тем, что мог сообщить что-нибудь о своей болезни; признак этот казался ему ничтожным.

— Вы ведете правильную жизнь?

— Да.

— Не предаетесь излишествам?

— Никогда.

— Это хорошо. Живы ваши родители?

— У меня нет отца.

— Знаете, какую болезнью он умер?

— Мне еще не было трех лет, когда я его лишился.

— Не припомните вы никаких обстоятельств его смерти?

— Не могу припомнить.

— Ваша матушка ничего вам об этом не рассказывала?

— Ничего; даже будто всегда избегала подобного разговора.

— Позвольте мне посмотреть вас, — сказал Дево, вставая.

Эдмон тоже встал.

— Потрудитесь снять сюртук, галстук и жилет, — продолжал доктор.

Эдмон повиновался.

Дево расстегнул рубашку и начал испытывать его грудь постукиванием, потом приложил к ней ухо и прислушался к его дыханию.

— Спите вы беспокойно?

— Да.

— Время от времени просыпаетесь? Лицо покрыто клейким потом? Тяжело дышите?

— Да, да.

— Кровью не случалось харкать?

— Случалось.

— Бывают биения сердца?

— Бывают, почти всегда по утрам.

— Ваша матушка знает все это?

— Нет, я не видел в этом ничего важного и не хотел напрасно ее расстраивать.

— В этом нет ничего важного, да... это у вас так — болезнь общая всем молодым людям. Скажите: вы должны непременно жить в Париже? Ваши занятия этого не требуют?

— Нет, мне все равно.

— Есть у вас состояние?

— Есть.

— Отчего вы не едете путешествовать? В ваши лета, не говоря уже о нравственной стороне, путешествие укрепляет тело... путешествие на юг.

— Мне необходимо путешествовать?

— Нет, но это бы вас укрепило; я вам даже советую путешествовать.

— В Париже все мои привязанности, привычки... Если нет окончательной необходимости...

— Нет-нет! Оставайтесь, только выполняйте, что я вам назначу.

«Нужно сделать, чтоб он не напрасно тратил свое время со мною», — думал Эдмон, пока доктор писал.

Дево кончил.

— Вы мне позволите часто приходиться советоваться с вами? — сказал Эдмон доктору, взяв у него рецепт. — Вот моя карточка; мне бы хотелось сразу сделаться вашим постоянным пациентом. Не смею еще благодарить вас, но постараюсь заслужить ваше внимание и надеюсь быть с вами в правильных отношениях.

Доктор положил на бюро карточку молодого человека.

— Приходите всегда, когда вам время, — сказал он, провожая Эдмона глазами.

Эдмон ушел, осматриваясь, но нигде не замечая Елены.

Цель его была, впрочем, достигнута: он принят в доме доктора.

Тотчас по уходе Эдмона Елена появилась в кабинете отца.

— Будешь завтракать, папенька? — спросила она.

— Буду, дитя мое.

— У тебя был больной?

— Да, ты его не знаешь.

— Что это за карточка?

— Это того молодого человека, что сейчас ушел.

— Эдмон де Пере, на улице Трех Братьев, № 3, — громко прочитала Елена, стараясь казаться равнодушною. — Что он, очень болен?

— Да, очень.

— Что с ним?

— Наследственная болезнь. Я убежден, что отец его умер в чахотке. Развитие болезни в молодом человеке очень сильно.

— Бедный! — прошептала Елена, положив на стол карточку.

— Пора завтракать, я страшно проголодался, — сказал доктор.

— Чахотка в сильном развитии! — сказала Елена, садясь за стол. — Что, это очень опасно, папенька?

— Так опасно, что при самом внимательном лечении он проживет не более трех лет, а без лечения не протянет и двух, — отвечал доктор.

— И он знает это?

— К счастью для него, нет. Чахоточные никогда не подозревают настоящего своего положения.

Елена задумалась над этими простыми словами. Ей стало жаль Эдмона. Он безраздельно овладел ее воображением: месяцы упорных исканий и преследований не могли бы для него сделать то, что сделала предстоящая ему опасность.

После завтрака, когда доктор уехал к своим пациентам, Елена вошла в свою комнату, грустная, задумчивая...

Старая ее гувернантка тотчас же уселась и внимательно принялась читать первую страницу «Кенильвортского замка».

Елена села к окну: шторы были спущены, но время от времени молодая девушка украдкой взглядывала на улицу.

Принялась было она за шитье, но руки ее не двигались, шитье упало к ней на колени: новость ощущений погрузила ее в глубокую задумчивость.

Эдмон никак не мог подозревать, какое тяжелое впечатление оставит в молодой девушке его свидание с доктором.

Елена была крайне впечатлительна. Сердце ее было восприимчиво и постоянно открыто страданиям ближнего, как вообще у натур тонко развитых. За два года перед этим лишившись матери, она едва пережила свою потерю: с тех пор ее сердце сделалось еще восприимчивее, сочувствие к чьим бы то ни было страданиям развилось в ней еще сильнее.

Притом же смерть матери оставила в сердце Елены пустоту, которую ничто не могло наполнить: ни привязанность к отцу, ни постоянно новые мечты, наполняющие воображение молодых девушек, как первые весенние листья, покрывающие свежую зеленью черные, оледенелые сучья деревьев.

Эдмон дал Елене повод воротиться к мысли о понесенной ею потере: от горя ребенка, потерявшего мать, она мысленно перешла к горю матери около умирающего сына.

«Горе ребенка, — думала она, — проходит с годами, горе матери лишено этого утешения, лишено любви, которая так примиряет с жизнью в молодости».

И она невольно стала думать о матери молодого человека, советовавшегося с отцом ее и не подозревавшего даже, что он так близок к смерти.

Она видела отчаяние бедной женщины, и перед нею носились — вместо спокойного, кроткого лица Эдмона, вместо больших голубых глаз, недавно еще устремленных на нее с любовью, — лицо, обезображенное смертью, холодное, бледное, глаза без взгляда и выражения, сжатые вечным безмолвием губы...

«Бедный!» — говорила она, содрогаясь невольно.

Чувство сострадания в сердце молодой девушки граничит с чувством любви.

«Который ему год? — думала Елена, возвращаясь опять к живому Эдмону. — Двадцать два, самое большее двадцать три, а уже природа положила предел его существованию через

два, через три года! И он ничего не знает, вошел сюда, воображая, что совершенно здоров, и не думая, что ему придется услышать смертный приговор. Он хотел узнать мое имя, хотел видеть меня и какой ужасный предлог выбрал для этого!

Его мать тоже ничего не знает: она гордится своим сыном, она счастлива. Бедная женщина! Участие к ней требует, чтобы ее предупредить. Задолго до рокового удара она свыкнется, сроднится с его близостью.

Не написать ли ей, что мне сказал отец? Может быть, еще есть время, еще можно спасти его.

Если бы я была сестрою этого молодого человека, как бы я за ним ухаживала, с какою преданностью выполняла бы его малейшую волю!

Я бы усладила краткий срок его существования.

Боже мой! Кто знает, какое несчастье предстоит ему! Его мать может умереть раньше; он угаснет один, без друзей, без родных, без любимой женщины, которая бы закрыла ему глаза.

Это ужасно! Боже мой, зачем я дочь человека, живущего болезнями ближних! Как прямо и хладнокровно говорит мой отец! Наука делает человека эгоистом, равнодушным к страданиям. «Не протянет двух лет», — сказал он про молодого человека и сказал без участия, даже без малейшего волнения. И к чему же эта наука, когда она бессильна над определениями природы?

Кажется мне, что привязанность и нравственные усилия могут спасти человека там, где материальные средства науки оказываются бессильными.

Я так много думаю об Эдмоне де Пере, а может быть, он сам виною своей болезни: может быть, он проводит ночи в оргиях и в игре, как большинство молодых людей, по словам отца.

Нет! — продолжала Елена после некоторого размышления. — На его лице нет следов беспорядочной жизни, черты его так женственны, в глазах столько привлекательной кротости! Говорят, что влияние того рода болезней чрезвычайно сильно на ум и сердце страдающих ими, что они могут сильнее любить, глубже чувствовать, вернее понимать и проникаться поэзией.

Да, им определено жить так мало, что они, будто боясь потерять лучшие мгновения жизни, предаются им безраздельно.

Я хочу изучить эту болезнь — да. Когда г-н де Пере придет еще раз, а он придет непременно, я в этом уверена, — я не спущу с него глаз, узнаю истину и буду знать, что мне делать. Отец может ошибиться; указания науки не всегда верны; но не ошибусь я — сердце мне говорит, что я не ошибусь».

Так думала или, лучше сказать, мечтала Елена, как вдруг возле нее послышался легкий шум, обративший ее к действительности. Шум произведен был падением книги: г-жа Анжелика по привычке заснула над второй страницей романа.

Два года, с самого вступления Анжелики в дом г-на Дево, по смерти его жены, почтенная гувернантка каждый день после завтрака садилась, летом к открытому окну, зимою к камину, и принималась читать «Кенильвортский замок».

Но никогда не заходила она далее песни трактирщика Гослинга:

Когда лошадь в конюшне,  
Всаднику можно выпить вина...



А это двестише, как известно всем читающим, находится на второй странице романа, что и доказывает очень ясно непродолжительность литературных стремлений достойной гувернантки.

Каждый раз, дойдя до этого двестишия, Анжелика засыпала так сладко, что книга вываливалась из ее рук. Факт этот обратился в непреложный закон природы.

Елена, изучившая привычки своей гувернантки, найдя на полу книгу, улыбнулась.

— А! — сказала она. — Моя гувернантка дошла до пятьдесят второй строчки «Кенильвортского замка».

Обыкновенно после падения книги Елена вставала, будила свою гувернантку и болтала с нею о чем придется, только чтобы не быть одной, потому что героиня наша боялась тишины и одиночества; но на этот раз ей хотелось, чтоб никто не мешал ее задумчивости, и уроненная книга валялась по-прежнему на полу.

Против обыкновения тоже, Анжелика едва задремала при падении книги, и легкий шум разбудил ее; она торопливо протерла глаза, оглянулась во все стороны, подняла «Кенильвортский замок», закрыла его и преспокойно положила на камин, не имея даже ни малейшего желания узнать, что отвечал путешественник на приглашение трактирщика; потом, положив на колени руки, начала обводить большой палец левой руки кругом большого же пальца правой.

— Скажите, я задремала! — сказала она, удивленная по обыкновению.

— Да, — отвечала Елена, — спите, я вам не мешаю, вы так сладко уснули...

— Нет, я не хочу спать.

— Так читайте...

— Читать нечего.

— А «Кенильвортский замок»?

— Да уж я кончила.

— Кончили! — сказала Елена, весело рассмеявшись. — То есть как кончили? Пятьдесят две строки, помноженные на семьсот тридцать дней, — потому что вы, вот уже два года, каждый день прочитываете по пятьдесят две строчки, — составят около тридцати шести тысяч строчек, а их в целой книге гораздо менее; но ведь вы, к несчастью, каждый день только повторяете зады.

— Все равно, — отвечала Анжелика, — по началу видно, чем роман должен кончиться, а больше ничего и не надобно.

С читательницею, понимающею таким образом литературные произведения, спорить, разумеется, невозможно.

Елена не возражала, но тем не менее ей хотелось отрешиться от тяжелых мыслей, которыми волновало ее ум ее впечатлительное сердце.

Бедняжка не знала, что делать; ее мысль была прикована к имени Эдмона.

Это объясняется очень просто тем, что наш молодой человек бессознательно, но верно, обратился прямо к ее сердцу, сам того не зная, он дал Елене повод жалеть о нем; он вошел в ее душу тем потаенным ходом, который всегда открыт у натур молодых и добрых.

Если бы Эдмон был здоров, весел, ему никогда не удалось бы так скоро завладеть сердцем молодой девушки.

Думая отделаться от непривычных мыслей, Елена встала и начала ходить по комнате.

— Добрая Анжелика, — вдруг сказала она, — пойдете гулять.

— Пойдемте, — отвечала гувернантка, — погода хорошая.

— Скажите мне, Анжелика, — сказала Елена, почти невольно делая этот вопрос, — знавали ли вы когда-нибудь чахоточных?

— А что?

— Так: я вам после скажу.

— Знавала.

— Все ли они умирают?

— О! Боже мой, нет. Я знаю одну даму: она вовсе не лечилась и теперь совершенно выздоровела.

— Как же это!

— Она два года провела на юге.

— Это всегда помогает?

— Нет, но почти всегда.

— Ему нужно на юг, — вырвалось невольно у Елены.

— Кому это? — спросила удивленная Анжелика. — Что вы сказали?

Елена вся покраснела.

— Пожалуйста, сыщите мою мантилью и шляпку: они там, в той комнате.

Не успела Анжелика уйти, как уже Елена, повинувшись инстинктивному внушению сердца, взяла листочек бумаги и написала торопливо два слова: «Поезжайте на юг»; свернула, запечатала, написала адрес Эдмона и тотчас же положила письмо под корсаж.

Анжелика, вошедшая с шляпкой и мантильей, ничего не заметила.

Наивная девушка вообразила, что нашла средство спасти Эдмона.

Вообразила, что эти два слова убедят молодого человека в необходимости путешествия, что он тотчас же поедет и вернется толстым и здоровым, как приятельница ее гувернантки. В этом письме выразилась вся ее золотая наивность. Ни минуты не подозревала она, какой смысл можно было придать этим словам.

Сама не зная, что делает, Елена бросилась на шею гувернантке и крепко поцеловала ее.

— Пойдемте, моя добрая, — сказала она, — день так хорош, нужно пользоваться.

Гувернантка, вся в черном, последовала за своей воспитанницей.

На улице Елена долго искала что-то глазами; наконец, найдя почтовый ящик, вынула из-под корсажа письмо и опустила его.

— Кому это вы пишете? — спросила гувернантка.

— Дельфине; вот уже неделя, как я не виделась с нею.

Дельфина была пансионскою подругою Елены.

Это была первая ложь Елены, но она не раскаивалась в том, что солгала; она даже гордилась этим, как добрым делом.

Да и разве не сделала Елена доброго дела? Целый день потом она была веселее, чем когда-нибудь, весела именно веселостью добрых...

Возраст, золотой и счастливый, когда сердце испытывает и печали и радости в самое короткое время и, по-видимому, без всяких причин!.. Как напоминает он весенние дни, когда вечером на свежей траве не заметно даже следов утреннего дождя!

Густав пришел к Эдмону уже поздно; вместо своего друга он нашел только известную читателю записку.

«Да будет!» — подумал Домон и терпеливо решился ждать последствий.

Эдмон вошел беспечно и весело; в его руке был рецепт доктора.

— Ну?.. — спросил Густав, только что его друг показался. — Ну что? — нетерпеливо повторил он, не умея скрыть тревоживших его опасений.

— Что? Ничего! — отвечал Эдмон со смехом. — Ты будто ожидал чего-то недоброго!

— Видел ты Дево? — несколько хладнокровнее спросил Густав, успокоенный веселым лицом своего друга.

— Разумеется, видел: для чего ж я и шел?

— Что он? Что сказал?

— Что сказал! Сказал, что обыкновенно говорят доктора; рецепт прописал.

Густав чуть не вырвал рецепт из рук своего друга и с жадностью стал читать его.

В рецепте не было ничего важного: было прописано одно из обыкновенных медицинских средств для ничтожных болезней.

Густав вздохнул свободнее.

— Идем завтракать, — сказал он, — г-жа де Пере ждет нас.

— Идем, идем, но скажи, пожалуйста, отчего ты хотел, чтобы я никуда не выходил, не повидавшись с тобою?

Вопрос этот несколько затруднил Густава.

— Я хотел звать тебя обедать, — отвечал он, только чтоб отвечать что-нибудь.

— Куда это?

— К Нишетте.

— Сегодня?

— Да, сегодня.

— Очень рад. И больше ничего?

— Ничего.

— Обедаем у Нишетты.

— Так сейчас же после завтрака я ее предуведомлю.

— Пойдет он к доктору? — тихо спросила г-жа Пере у Густава, когда друзья наши вошли в ее будуар.

— Он уже был там, — отвечал Домон.

— Боже! — прошептала молодая мать.

— Впрочем, успокойтесь; Эдмону бояться нечего.

— Что сказал доктор?

— Прописал самое обыкновенное лекарство, только чтоб прописать что-нибудь здоровому человеку, воображающему себя больным.

— Благодарю вас, друг мой, — сказала г-жа де Пере, успокоясь и крепко пожимая руку Густава.

— Что у вас за секреты? — спросил Эдмон, от которого не ускользнул тихий разговор матери с Густавом. — Как тебе кажется, маменька, не правда ли, в Густаве есть сегодня что-то смешное?

— Я спрашивал у г-жи де Пере, — отвечал Густав, — не будет ли она на меня сердиться, что я увожу тебя сегодня обедать.

— А я отвечала, что сердиться на то, в чем ты находишь удовольствие, — вовсе не в моих правилах, — отвечала мать, с нежностью целуя в лоб сына.

Можно было без боязни говорить о свидании Эдмона с доктором; рецепт всех успокоил. Г-жа де Пере стала расспрашивать сына, и Эдмон охотно рассказал свои похождения; он находил уже удовольствие в простом повторении имени Елены.

Оставив Эдмона с матерью, Густав тотчас же после завтрака побежал к Нишетте.

Гризетка по обыкновению сидела у окна за работой.

— С нами будет обедать Эдмон, — сказал Густав.

— Что же ты меня не предупредил раньше? — сказала Нишетта, сделав недовольную мину. — Уж каков обед будет — не взыщите.

— Не заботься ни о чем, — отвечал Густав, взяв обеими руками хорошенькую головку модистки и целуя ее в обе щеки, — кушанье и вино пришлю я; ты распорядись только насчет стаканов, тарелок, салфеток и серебра. Все это, кажется, у тебя есть. Да еще нужно приготовить пару котлет для Эдмона.

— Кажется, есть. У меня всего даже больше, чем мне нужно, — отвечал любящий ребенок, в свою очередь целуя Густава. — Ты меня так любишь, что я счастливейшая женщина в мире.

Кому никогда не случалось встречать любовь свободную, молодую и доверчивую — стоило только отворить дверь в комнату модистки и взглянуть на Нишетту, своими полными, белыми руками обнимавшую любимого ею человека.

— К шести часам будет готово?.. — спросил Густав, уходя.

— Все будет готово, — отвечала Нишетта, — только присылай скорее кушанье.

Выйдя на улицу, Густав обернулся невольно.

В заветном окне, посреди цветов, украшавших комнату модистки, виднелась прелестная головка, с любовью и улыбкою на него смотрящая.

Он зашел в ближайший ресторан и заказал все, что нужно. В пять часов он завернул за Эдмоном, и через несколько минут оба друга были уже на улице Годо.

Стол был накрыт в комнате Нишетты.

Погода стояла восхитительная, окно было отворено, солнце играло весело на граненых стаканах и на яркой белизне скатерти. Все в обстановке дружеского обеда было просто, но весело; место роскоши и блеска заменяли удобство и искренность; молодость, весна, любовь и надежды превращали маленькую комнату модистки в очарованный чертог доброй волшебницы.

«Отчего же, — спросит читатель, — не было блеску и роскоши? Густав богат и любит Нишетту? Как же решился он оставить ее в маленькой квартире, в которой жила она до знакомства с ним, когда мог обставить ее соответственно своему богатству, вкусам и привычкам?»

Автор отвечает на это, что именно потому, что Густав был богат и любил Нишетту так же, как она любила его, он ее оставил в маленькой квартире в триста франков, где впервые ее увидел, позволив себе сделать в этой квартире только некоторые необходимые улучшения, казавшиеся, впрочем, бедной девушке последним словом роскоши.

Зато в этой трехсотенной квартирке у Нишетты было все, чего недостает зачастую обитательницам великолепных отелей. Прежде всего, у нее всегда водились деньги.

Это происходило, правда, оттого, что ее потребности были очень скромны. Потом — белья и платьев (сшитых всегда ею самою) у нее был запас во всякое время. Бриллиантов у нее не было только потому, что она их не любила, а работать она продолжала по-прежнему, потому что не могла не работать.

Густав несколько раз выражал желание улучшить ее положение: заменить простую черную мебель мебелью розового дерева, шерстяные платки — индийским кашемиром, работу — бездействием; модистка никогда не соглашалась на это.

— Если ты меня любишь для меня, — говорила она, — люби меня здесь. Я согласна принять от тебя все, что необходимо тебе, без чего по твоим потребностям и привычкам ты не можешь обойтись нигде, — но не более. Я и здесь совершенно счастлива; для моего довольства нужно немного. В маленькой квартире ты меня любишь как женщину, любящую тебя, в богатом помещении, которое тебе будет стоить много денег, ты будешь ходить к женщине, которую содержишь. Приходи ко мне каждый день — вот все, о чем я прошу тебя, но оставь меня здесь, пощади мое маленькое тщеславие, которое утешает меня тем, что я тебя люблю не из интереса.

Густав понял тонкую деликатность модистки и уступил ей, считая себя счастливым, потому что в простых словах Нишетты видел чистое сердце, незараженную мысль. Он настаивал только на одном, чтобы с этого дня, согласно со своими вкусами и потребностями, Нишетта сделалась счастливейшею в Париже женщиною.

И она действительно сделалась счастливою.

Если бы вы видели ее поутру, как она радостно просыпалась, как улыбалась беспечно перед каминным зеркалом, как отворяла окно, поливала цветы, завивала папильотки (волосы были самое неотразимое орудие гризетки), весело обегала комнату, напевая любимые песни, и потом садилась за работу, — вы бы сказали, что перед вами резвая птичка в клетке.

Нишетта любила читать, и ее вкус был более развит, чем вообще у гризеток: она читала хорошие книги; правда и то, что выбором их всегда руководил Густав.

Если не приходил Густав, Нишетта проводила обыкновенно целые вечера за книгою. Гризетка не могла читать, чтобы в то же время не грызть или не сосать что-нибудь, и обязанностью Густава было доставлять ей вместе с книгами и конфеты.

Обязанность эту он выполнял всегда очень аккуратно, как бы много Нишетта ни читала, потому что чем более занимала ее книга, тем более истребляла она конфет. Так, например, за чтением «Фредерика и Вернеретты» ею был уничтожен целый ящик сухого варенья.

Нишетта понимала все и о всем могла говорить. Писала она, конечно, с грамматическими ошибками, но в ее письмах можно было найти и смысл и чувство.

О будущем гризетка не думала. Знала она, что у Густава сердце прямое и доброе, что он ее любит, и за тем она ничего не видела. Все ее будущее заключалось в предстоящей минуте свидания с Густавом.

Ни отца, ни матери не было у гризетки; осиротела она, бывши еще в ученьи; скоро модистка, у которой она жила, возвысила ее степенью мастерицы и положила ей порядочное жалованье.

Но Нишетту манила жизнь свободная; недолго пробыв мастерицею в магазине, она наняла себе маленькую отдельную комнатку, и с тех пор на публичных гуляньях и в театры являлась уже не одна.

Желавшему в то время узнать подробности образа жизни Нишетты стоило только побродить в Латинском квартале: скоро он нашел бы студента, способного удовлетворить

его любопытство...

Полюбив Густава, швея всеми силами старалась отрешиться от своего прошедшего.

Станем рассуждать беспристрастно: виновата ли была бедная-бедная девочка, что Домон не встретился ей раньше?

Густав объяснил себе этот вопрос как человек, чуждый готовых предубеждений: довольствуясь уверенностью в настоящем, он ни разу не требовал у нее отчета в ее прошедшем.

Будущее заботило его так же мало, как и Нишетту. При мысли о возможных случайностях жизни он всегда рассуждал таким образом:

«В одном только случае я могу оставить Нишетту — именно, если женюсь; но если б мне довелось жениться, я ей обеспечу вполне независимое положение».

Они любили друг друга, не думая, не рассуждая, без сожаления о прошедшем, без боязни за будущее; это была любовь молодости: беззаботная, доверчивая и веселая.

Уважение и признательность укрепляли привязанность Нишетты к Густаву; кроткое влияние, не лишенное своего рода совершенно справедливой гордости, выражалось в чувствах его к Нишетте. Оба они считали себя счастливыми — она тем, что вверилась прямому и честному человеку, он — потому что выбор сердца не обманул его.

Густав от души желал, чтобы Эдмон мог встретить такую, как Нишетта, девушку, сам Эдмон даже иногда мечтал об этом; но привязанность такого рода трудно найти сразу, особенно в той среде, где ее постоянно отыскивают.

Как бы то ни было, Нишетта продолжала жить просто, и обед назначен был в ее маленькой скромной квартирке.

На Нишетте было чрезвычайно миленькое голубое кисейное платье, легкое и прозрачное. Открытый корсаж и короткие рукава позволяли видеть блестящую белизну плеч и рук хорошенькой гризетки. Крошечный чепчик на голове и неизбежная бархатная лента на шее довершали ее наряд — простой, но чрезвычайно удачно подобранный.

— Здравствуйте, Эдмон, — сказала она, весело выбегая навстречу нашему герою и обнимая его.

— Здравствуйте, дитя мое. Вы нас угощаете сегодня обедом?

— Еще каким! — отвечала гризетка. — Мне одной хватило бы этих кушаньев на всю неделю.

— Приготовила ты все, что я сказал? — спросил Густав.

— Все; для Эдмона пара котлет.

— Пара котлет? Для меня? Зачем? — сказал Эдмон, смеясь.

— По приказанию доктора, — отвечал Густав. — Тебе положено употребление только легкого мяса.

— Эдмон болен? — спросила с беспокойством Нишетта.

— Нет, — отвечал Густав, — с ним случилось маленькое происшествие, и, чтоб он не забыл его, я ему часто буду напоминать о предписаниях доктора.

— Ты мне это происшествие расскажешь?

— Непременно; давай сядем за стол.

— Садитесь — кушать подано.

Кушать подано было уже давно. В комнате был накрыт стол; тарелки, бутылки и кушанья стояли, приготовленные заранее, так как обедать предполагалось без прислуги.

— Рассказывай, — сказала Нишетта, когда суп был налит и все трое сидели на местах.

Густав хотел начать, но Эдмон перебил его и рассказал свое приключение сам, не утаив ни малейшей подробности.

— Какая сентиментальная история! — сказала Нишетта.

— Да, — отвечал Эдмон, — но вот я остановился на полдороге. Как мне теперь увидеть героиню моего романа?

— Очень просто, — отвечала Нишетта. — Вы теперь вхожи в дом и ходите, пока ее не увидите.

— Ну, я ее увижу; так ведь все это будет при посторонних.

— Так что же такое? Нельзя объяснить языком, постарайтесь глазами выразить ей свои чувства. Если из ее взглядов вы увидите, что вас любят, — никаких объяснений не надобно.

— Да, но, к сожалению, моя милая, — заметил Густав, — г-жа Дево не так свободна, как ты. Положим, она и полюбит Эдмона и признается ему в любви, так ведь все это ни к чему не поведет, потому что у нее есть отец.

— Опять не понимаю! Если Эдмон точно влюблен, он сделает предложение ее отцу и отец согласится. Эдмон, верно, не захочет любить ее по-испански, с ночными серенадами и шелковыми лестницами. Там это, может быть, и прекрасно, но во Франции неудобно. Сердце Эдмона не испорчено, и он так честен, что не захочет погубить девушку и любит с благородною целью.

— Правда, — отвечал Эдмон, сдерживая улыбку, — но именно оттого, что, как вы говорите, сердце мое не испорчено, мне бы хотелось, чтоб перед свадьбою было немного любви. Мне страшно подумать о сватовстве обыкновенном; нотариус и приданое, являющиеся с самого начала, способны охолодить меня. Конечно, дело не обойдется без законного брака, но опять-таки пусть я дойду до такого благополучия не по избитой дороге, пусть я испытаю любовь, испытаю...

— Испытаете все тревожения Павла и Виргинии, — подхватила, улыбаясь, Нишетта.

— Именно, литературная женщина, — отвечал, улыбаясь, Эдмон, — разумеется, кроме бури и наводнения.

— Хорошо! — вдруг сказала Нишетта. — Я женщина: Густав думает, что гризетке не может быть понятно сердце светской девицы, но я дам вам добрый совет, Эдмон, хотите — слушайте. Мне кажется, что сердце у всех женщин одинаково, разумеется, у которой есть сердце.

— Я заранее следую вашему совету, друг мой, — отвечал Эдмон, целуя руку гризетки, — потому что убежден, что ни одно, чье бы оно ни было, женское сердце не может быть чище вашего.

— Слышишь, Густав? — лукаво заметила Нишетта.

— Слышу и подтверждаю.

— Ну, моя добренькая, вы теперь знаете, за чем дело стало, что мне делать?

— Сегодня какой день?

— Сегодня? Суббота...

— Ну... — медленно протянула Нишетта.

— Ну? — вопросительно произнес Эдмон.

— Ну и вы не догадываетесь?

— Не догадываюсь.

— Завтра воскресенье.

— Очень ясно, потому что сегодня суббота.

— А что делают по воскресеньям девицы, живущие с родителями?

— Я уж этого решительно не знаю, что там они делают.

— Ходят к обедне, и во всех, во всех романах влюбленные видятся со своими красавицами в церкви. Ну и вы, Эдмон, отправляйтесь-ка завтра к святому Фоме; Елена от этой церкви живет через два дома, увидит вас и догадается сразу, о чем вы молитесь. Ходите туда каждое воскресенье и продолжайте как можно чаще советоваться с доктором о вашей болезни. О вас будут думать, мечтать, как обыкновенно думают о молодых людях ваших лет, с такими, как у вас, глазами, так что, когда встретится вам случай говорить с нею, вам уже нечего будет говорить; все будет давно сказано и объяснено. Потом...

Нишетта будто не решалась выразить свою мысль.

— Что же потом? — нетерпеливо спросил Эдмон.

— Потом... — в раздумье произнесла Нишетта и вдруг, будто отрезав, быстро спросила: — Что вы намерены делать, если заметите, что вовсе ее не любите?

— Больше не буду ходить к отцу ее.

— И вы мне это обещаете?

— Обещаю. Но зачем такое торжественное обещание?

— Затем, что из самолюбия вы захотите сделать то, чего бы никогда не сделали из любви. Вы завлечете слишком далеко девушку, которую не любите, погубите всю ее будущность для удовлетворения мелкому тщеславию. Вы поступите дурно.

— Не поступлю, Нишетта, потому что я честный человек.

— На этих условиях буду помогать вам. Заметьте, что я покровительствую только законным связям, — прибавила она, улыбаясь и несколько покраснев.

— И вы можете помочь мне?

— Очень ясно.

— Но как?

— Девица Елена Дево разве не носит шляпок и чепчиков? Нет? Не носит?

— Ну... разумеется, носит.

— Ну а если носит, так Нишетта поможет вам, и вы поблагодарите ее, когда узнаете, какая она мастерица.



Только почти невероятною наивностью и чистотою сердца Елены можно объяснить письмо известного читателю содержания к совершенно незнакомому человеку. В письме этом будто предполагалось, что Эдмон по какому-то тайному сочувствию знает, какие мысли волновали писавшую, знает, что сказал о нем отец ее, предполагалось, одним словом, невозможное.

Как она написала эту строчку — она не знала сама. Сделано это было необдуманно; просто нужен был исход волновавшим ее мыслям. Поступок Елены, в строгом смысле, нельзя даже приписать ее наивности; это было ребячество в полном смысле этого слова.

Ребенок не мог и подозревать очень естественных следствий своей необдуманности.

Во-первых, Эдмон мог видеть в этом анонимном предостережении глупую, неприличную шутку, не догадавшись, какое руководило писавшею чувство; потом, если он и догадался, кем написаны эти два темных слова, не зная о грозящей ему опасности, он бы истолковал их в пользу возникающей любви; наконец, если бы письмо достигло предположенной цели и объяснило Эдмону настоящее его положение и необходимость немедленного отъезда в благоприятный климат, то как грубо открыла бы Елена глаза любимому человеку, которого нужно бы вылечить, по возможности скрывая от него истину.

Елене и в голову не приходили все эти случайности. Она поступила, как дитя, по первому внушению сердца.

Но впечатления быстро перерабатываются молодыми натурами и через самые короткие промежутки зарождают новые, совершенно противоположные прежним мысли.

Когда Елена вечером осталась одна в своей комнате, когда она могла сказать себе: «Письмо мое получено и прочитано г-м де Пере», — поступок ее показался ей совершенно с другой стороны, и ей вдруг стало страшно за его последствия.

В том, что за несколько минут казалось ей так просто и естественно, она уже ничего не видела, кроме непозволительной переписки молодой девушки с незнакомым ей человеком, и, разумеется, преувеличивала последствия своей ветрености.

«Что он обо мне подумает? — говорила она. — Пожалуй, вообразит, что я сама еду на юг и хочу, чтобы он за мной следовал, или что я не смею любить и хочу удалить его, или, наконец, что я другого люблю... Предположить все, кроме настоящего, потому что отец сказал, что ему неизвестна опасность его положения, а не зная о своей болезни, разве может он понять письмо мое?»

Наивный ребенок и не подозревал, что Эдмон мог даже не догадаться, что письмо от нее.

«Зачем я писала? — думала Елена, возвращаясь к своим опасениям. — Боже мой! Да ведь я писала, чтобы спасти человека, который меня любит. А кто мне сказал, что он любит меня? Кто сказал? Эти мысли, до сих пор никогда не приходившие мне в голову, эти чувства, никогда не волновавшие моего сердца, этот тайный голос, это имя, постоянно звучащее в ушах моих. Если бы я по крайней мере не произвела на него впечатления, он бы не следил за мною, не пришел бы сюда, я бы сама не решилась писать ему...»

Читатель не удивляется беспокойствам и опасениям Елены. Недавнее приключение сразу отбросило далеко от нее тихое однообразие ее прошедшего.

До сих пор никто не говорил ей о любви, никто не замечал даже, что она выросла, что

она способна любить. Эдмон первый, без слов, высказал ей признание.

Пусть читатель сам рассудит. Следовать за женщиной, узнать ее имя и на другой же день найти предлог, чтобы явиться в ее дом — разве не значит чисто-начисто признаться ей в любви? И когда от этого случайного предлога происходят такие грустно-поэтические последствия, какие произошли от свидания нашего героя с доктором, разве не естественно, что приключение это овладеет воображением и наполнит все существо молодой, романтически настроенной и экзальтированной девушки, только что покинувшей пансионскую скамью?

Это до такой степени верно, что, размышляя о вероятных последствиях своей ошибки, последствиях, устранивших ее сначала, Елена не только привыкла о них думать, но даже осталась очень довольна тем, что написала письмо, именно потому, что от него могли произойти романтические последствия.

Найдите мне, если не верите, шестнадцатилетнюю девушку, которая не была бы в восхищении оттого, что ее жизнь начинает походить на роман.

«Что он сделает, прочитав мое письмо? Сделает же ведь что-нибудь. Поскорее бы завтра пришло».

И Елена уснула с этой мыслью, забыв даже, что Эдмону остается жить всего два-три года, что именно потому она и писала к нему. Сердце девушки — чистое зеркало, отражающее все, мимо него мелькающее и не сохраняющее ничего.

Увлеченная своими мечтами, Елена заснула, забыв погасить свечу; в два часа почтенная гувернантка проснулась и, удивленная поздним бдением своей питомицы, поспешила исправить ее неосторожность.

Эдмон не спал; он был слишком счастлив, чтоб спать.

После обеда у модистки Эдмон нанял карету, и все трое поехали кататься в Елисейские поля и оттуда в Булонский лес: Нишетта, склонясь головкою на плечо Густава, Эдмон против них, любуясь ее маленькими ножками, протянутыми возле него на подушку.

Вечер был тихий и ясный, Густав и Нишетта обменялись чуть слышными, им одним понятными словами, словами любви, уносимыми вечерним ветром вместе с ароматом цветов и напевами птиц.

Эдмон думал о Елене; он мечтал о возможности так же сжимать ее в объятиях, как Густав Нишетту, и в мечтах был счастливее своего друга.

Довезя их до квартиры модистки, он поехал домой.

На первой ступеньке лестницы привратник отдал ему Еленино письмо.

Не подозревая, откуда оно и что в нем содержится, Эдмон распечатал.

Три раза перечел он это таинственное предостережение и не понял решительно ничего.

«Поезжайте на юг... — повторял он беспрестанно, будто взвешивая каждое слово и напрасно стараясь проникнуть в истинный смысл. — Что же это значит?»

«Что же это значит?» — бормотал он и, дойдя до своей комнаты, остановился, как был в шляпе и в пальто, перед зеркалом.

Имя молодой девушки не приходило ему и в голову. Человек уже так создан, что всегда ищет неизвестное не там, где бы следовало; но, без всякого отношения к письму, образ Елены, занимавший его в течение целого дня, несколько раз вставал перед ним во время этого чтения так живо и так ярко, что письмо невольно сжималось и опускалось его рукою.

Послышался легкий стук в двери.

— Войдите, — сказал Эдмон, полагая, что это лакей его, и не оборачиваясь.

— Что ты это читаешь с таким вниманием, друг мой? — сказала г-жа де Пере, положив голову на плечо сына.

— Прости меня, добрая маменька; я не думал, что это ты стучала. Я очень заинтересован этим письмом; не знаю, откуда оно и что значит. Не будешь ли ты счастливее меня: не поймешь ли?

— Даи сюда.

Эдмон отдал письмо матери.

Взглянув на записку, она вся побледнела; внезапная бледность ее не скрылась от глаз Эдмона.

— Что с тобою? — вскрикнул он.

— Ничего, — бормотала г-жа де Пере, стараясь улыбнуться, — ничего, друг мой... последнее время со мною часто эти припадки, это приливы крови к сердцу.

— Тебе нужно лечиться.

— Мне? О, Боже мой, нет! Это пустое.

Г-жа де Пере сделала еще над собою усилие и улыбнулась.

— Прочла ты письмо? — спросил обманутый ее улыбкою Эдмон.

— Прочла.

— И поняла что-нибудь?

Г-жа де Пере хотела отвечать, но слезы брызнули из ее глаз, и она упала на стул, закрывая платком лицо.

— Боже мой! Что с тобою? — сказал Эдмон, становясь перед нею на колени. — Ради Бога, здорова ли ты? Не случилось ли чего?

— Нет, дитя мое, ничего, — отвечала достойная женщина, тревожно обнимая и целуя сына. — Ничего не случилось. Ты ведь знаешь, как я суеверна, мнительна. Теперь поздно... Я не видала, как ты вошел, и испугалась, не случилось ли чего с тобою. Ты всегда заходишь ко мне, возвращаясь... сегодня ты, верно, забыл. Я так испугалась... пришла удостовериться, что ты здесь и худого ничего нет. От всех этих волнений я так ослабела, что невольно заплакала. Обними меня, — продолжала г-жа де Пере, вытирая глаза и усиливаясь казаться спокойною. — Обойми меня, и забудем это. Письмо твое...

— Оставь его, я забыл и думать о нем.

— Я знаю, от кого это письмо.

— От кого же? Скажи.

— От Елены Дево.

— Почему ты это думаешь?

Сделав над собою еще усилие, чтобы не заплакать, г-жа де Пере принужденно улыбнулась и отвечала:

— Очень просто: она тебя любит.

— Ты говоришь, она меня любит? Она? Елена?

— Да.

— Добрая маменька, объяснись.

— Или если еще не любит, то очень заинтересована тобою. Утром ты был у г-на Дево и, чтобы иметь к нему доступ, выдал себя за больного?

Г-же де Пере было тяжело говорить; она задыхалась.

— Да, — отвечал Эдмон.

— Не зная, что бы тебе посоветовать, потому что ты совсем здоров, он посоветовал

тебе путешествовать. Да? Ведь ты сам сказал это? — продолжала г-жа де Пере, стараясь казаться хладнокровною.

— Да.

— Ну, а Елена, любопытная, как и все девушки ее лет, подслушала ваш разговор и под влиянием доброго чувства написала тебе это письмо, полагая, что твое выздоровление зависит от путешествия, как сказал ее отец.

— Это так, да. Ты угадала сразу то, что мне никогда не пришло бы в голову. Сколько души в этом поступке молодой девушки! Стало быть, она обо мне думала. О! Я ее увижу, я ее поблагодарю за это. Она полюбит меня, полюбит, я в этом уверен, внутренний голос говорит мне это. Добрая маменька, у тебя будет двое детей, и оба будут любить тебя, и мы будем счастливы! Ты не будешь меня ревновать к ней?

— Нет, дитя мое, нет. Но... знаешь ли?.. Если бы я у тебя попросила одной жертвы...

— Какой, добрая матушка? Говори.

— Если бы я тебе сказала: «Эдмон, откажись от этой молодой девушки, не старайся видеть ни ее, ни отца ее...» Если бы я сказала тебе это так, без причины, по прихоти, — выполнил ли бы ты мою просьбу?

— Выполнил бы. Я убежден, что причина была бы, хотя бы от меня ее скрыли.

— Стало быть, ты...

— Стало быть, что?..

— Нет, ничего... не знаю сама, что я говорю... я сегодня совсем как помешанная. Ты эту девушку любишь; может быть, твое счастье зависит от этой любви, а я тут со своею ревностью. Прости меня, сын мой, прости меня.

— В чем же простить вас? В том, что вы меня сильно любите? Разве это вина матери?

— Что я тебе хотела сказать?.. Забыла, — стараясь переменить разговор, стараясь отрешиться от овладевших ею сомнений, говорила г-жа де Пере, — забыла. Тебе ничего не нужно?

— Ничего, моя добрая. Я тебя видел — чего мне еще больше?

— Прощай, друг мой, спи спокойно.

В этих словах слышались слезы.

Г-жа де Пере ушла в свои комнаты, еще два-три раза улыбнувшись сыну.

«Что с нею сегодня? — думал Эдмон. — Отчего она так взволнована?»

И вместо ответа на этот вопрос молодой человек еще раз прочел записочку Елены.

«Елена!..» — прошептал он, целуя написанные ее рукою слова, и все клятвы любящего сердца выразились в этом одном произнесенном им слове.

«Господи! Да будет воля Твоя! — молилась г-жа де Пере, упав на колени перед образом, скрестив руки и заливаясь слезами. — Молю об одном, Господи! Яви ему свое милосердие».

Чувство матери, чувство, близкое к предвидению, при одном взгляде на письмо объяснило ей истину.

Усомнившийся пусть спросит у своей матери, возможно ли это, если он так счастлив, что у него еще есть мать.

Сколько счастья, примирения вносит в нашу душу чистая, святая надежда — это доска, брошенная самим Богом на волны житейского моря для того, чтобы утопающий хоть на минуту мог за нее ухватиться и уверовать еще на мгновение в жизнь и в счастье; надежда — это последняя, неразменная монета сердца, на которую до самой смерти человек покупает последние очарования.

По одному из тех электрических сотрясений сердца матери, будто связанного невидимою цепью с сердцем сына, будто живущего общею, нераздельною с ним жизнью, г-жа де Пере поняла сразу, что письмо Елены предвещает несчастье, и ее опасения не замедлили обратиться в уверенность.

Прочитав предостережение молодой девушки, г-жа де Пере не понимала сама, что говорит сыну.

Понимала она только то, что не должно давать чувствовать ему зловещих, волновавших ее опасений. Сделать это будет трудно: Эдмон, с детства окруженный самыми нежными попечениями, никогда и не подозревал в себе болезни. И в этот вечер расстался он с матерью, ничего не подозревающий, веселый и счастливый, тогда как в ней подступало уже страдание, вечный и божественный пример которого подала на земле Святая Дева.

Долго плакала бедная женщина, становилась на колени, молилась, вставала и опять падала перед образом, опустив голову и скрестив руки. Только два слова вырывались из уст ее во все это время.

«Боже мой! Боже мой!» — были эти два слова, которыми прежде всего выражается человеческое горе, произвольно и прежде всего обращающееся к вечному источнику утешения.

Несчастливая мать не могла долго оставаться без сына. С лампой в руках, на цыпочках подкралась она к двери его комнаты и приложила глазом к замочной скважине. Ей казалось, что близость к Эдмону несколько облегчает ее страдания.

Он ходил по комнате, тихо разговаривая с самим собою под влиянием требовавших исхода впечатлений.

«Не счастье ли быть любимым этим ребенком? — говорил он. — Сколько наслаждения должно быть в чистой любви еще не знакомой с любовью девушки? А она полюбит меня, да, полюбит! Мне это сказала мать, добрая моя мать, никогда не обманывающаяся, когда дело идет обо мне».

Гордость выразилась на лице Эдмона, гордость человека, сознающего, что его любят.

По одному этому выражению г-жа де Пере, не слышавшая его слов, догадалась, что говорил он.

«Он счастлив, — подумала она. — Бог милосердный и праведный отвратит от него несчастье», — было ее второю, последовательною для матери мыслью.

Г-жа де Пере утерла слезы и воротилась в свою комнату: радость, выражавшаяся в каждой черте лица Эдмона, беспрестанно носившегося перед ее глазами, рассеяла ее черные опасения.

Так с первыми лучами солнца дрожат и исчезают призраки, пугавшие ночью ребенка.

Припоминая свою прошедшую, безукоризненную жизнь, привязанность к отцу, преданность и верность мужу, любовь к сыну, душа которого была как бы выражением ее

души, г-жа де Пере, понимавшая божество как женщина, убедилась, что чаша страдания минует ее с ее сыном.

Недавние ее слезы показались ей даже смешными, она стала упрекать себя в ребячестве и дошла наконец до того, что сказанное ею же Эдмону насчет письма показалось ей справедливым. Ведь могло же так быть в самом деле? Почему же непременно предполагать другое?

Нужно здесь заметить, что строго религиозное воспитание г-жи де Перс оставило в ней твердое убеждение в Верховную Справедливость.

Она не могла допустить мысли, что Бог будет ее безвинно наказывать; притом же, ничто около ее не изменилось; сын ее веселее обыкновенного, влюблен и непременно будет любимым, жизнь со всех сторон ему улыбается — не может быть, чтобы здоровье его было так расстроено.

Зачем же приписывать действительное значение опасениям, никогда не покидающим сердце матери? Не гораздо ли проще предположить, что с тех пор, как Эдмон стал думать о Елене, г-жа де Пере, привыкшая безраздельно жить в сердце своего ребенка, почувствовала некоторую ревность и эта ревность сообщила всему свой мрачный характер?

Думать так было гораздо утешительнее; г-жа де Пере незаметно достигла полного переворота мыслей своих и, утирая последнюю слезу, говорила:

«Не сумасшедшая ли я? Вообразила Бог знает что!»

Впрочем, несмотря на возникшую уверенность, она не могла спать: только мысли ее переменили направление; не думая более о будущем, она спустилась в свое прошедшее, и из ее глаз заструились слезы, слезы, вызванные счастливыми воспоминаниями и постоянно таящиеся в глубине души каждого, как в жаркий полдень в глубине трав, кажущихся на поверхности совершенно выжженными палящими лучами солнца, всегда таятся капли оживляющей росы.

Думая о Елене и задавая невольно вопросы будущему в один из промежутков господствующей мысли, Эдмон вспомнил о слезах своей матери.

«Бедная мать! — подумал он. — Она так грустна была вечером, а я оставил ее, не озабочась даже, что с нею. Так делают только эгоисты и влюбленные».

В свою очередь, с лампой в руке и на цыпочках Эдмон подошел к комнате матери. Свет выходил из-под дверей комнаты.

Эдмон тихо постучался.

Услышав в такое позднее время стук, г-жа де Пере вскрикнула.

— Не бойся, моя добрая, — сказал Эдмон, быстро входя в комнату, — это я.

— Ты еще не ложишься, дитя мое? — с беспокойством спросила мать. — Ты не болен ли?

— О, нет! Мне так хорошо никогда не было. Я не мог уснуть, не спросив у тебя, прошло ли твоё вчерашнее расстройство. Вот почему я пришел.

— Прошло, дитя мое, прошло; я тебе уже объяснила причины этого нерасположения; ты видел, что это пустое.

— Слава Богу, а то мне было тяжело за тебя.

— Ты влюблен? Ты думал о Елене?

— Думал. Но отчего ты не спишь, о чем ты думала до двух часов утра?

— О тебе, о твоей любви, о твоей будущности.

— О моем счастье, которым я обязан тебе...

— Но которое уже не от меня зависит теперь.

— От тебя, добрая маменька; знаешь ли, что во всех моих мечтах ты была участницею?

— А ты мечтал, Эдмон?

— Два часа мечтал.

— Расскажи мне мечты твои.

— Я строил планы тихого, спокойного будущего. Мечтал о счастливой жизни, тройной привязанности — женщины, матери и друга. Я молод, я недурен собою, — сказал, улыбаясь, Эдмон, — потому что я несколько похож на тебя, у нас есть состояние, и я чувствую, что влюблен решительно в Елену. Когда узнаю, что и она любит меня, сделаю предложение ее отцу: ему нет повода отказать мне. Зиму мы будем проводить в Париже, лето на берегах Лоары: мы будем так счастливы, как только можно быть на земле. Не правда ли, добрая мать моя?

Г-жа де Пере с улыбкою посмотрела на сына.

— Разве не то же говорила я, когда ты только рассказал мне о своей встрече? — спросила она.

— Ты читаешь мои мысли, между нами нет ничего скрытного. Признаюсь тебе, завтра я постараюсь употребить все свои силы, чтобы Елена полюбила меня.

— Это вовсе не так трудно.

— Да, Нишетта научила меня и обещала помогать.

— Так и Нишетта заодно с тобою?

— О, если б ты знала, какое это доброе сердце!

Два часа сын и мать провели вместе, говоря о прошедшем, довольные настоящим, счастливые будущим: г-жа де Пере, нагнувшись и любуясь Эдмоном, лежавшим у ног ее; оба юные по своим идеям, доверчивые по своей привязанности.

В четыре часа Эдмон ушел в свою комнату.

«Я с ума сходила», — еще раз подумала г-жа де Пере и уснула спокойно и без боязни.

В восемь часов Эдмон был уже на ногах и направлялся к церкви св. Фомы.

Войдя в церковь, Эдмон встал так, чтобы ему было видно входящих. Народ только что начал собираться.

Эдмон набожно перекрестился. Уважение к святости места не было им забыто: в сердце и в уме его вера и любовь были связаны прочно.

Притом же раннее утреннее богослужение, без блеска и без торжественности, с небольшим числом истинно верующих и молящихся, произвело на него благоприятное впечатление.

Преданный религиозным размышлениям, он не заметил, как прошло время, самое тяжелое время ожидания.

Елена вошла в сопровождении Анжелики. Сердце Эдмона забилося сильно: он хотел, чтоб его заметили, но боялся быть замеченным слишком рано.

Эдмон спрятался за колонну.

Молодая девушка прошла мимо него, не взглянув даже в его сторону, и встала на колени у маленького предела, перед которым совершалось богослужение.

Елена перекрестилась, открыла молитвенник и стала усердно молиться.

Служба только еще начиналась.

Эдмон был слишком набожен и потому вовсе не хотел мешать Елене в ее молитве. Ему хотелось только быть ею замеченным и показать ей, что он продолжает искать случаев видеть ее. Не сделав ни малейшего движения, которое бы могло отвлечь ее от молитвы, он погрузился в безмолвное созерцание, поместившись за стулом, перед которым стояла она на коленях.

Прекраснее, чем в первую встречу, показалась ему Елена. Кому хоть раз в жизни случалось любить молодую девушку, тот поймет положение Эдмона в церкви, физически отделенного от нее пространством в несколько вершков, тогда как нравственно разделяли их целые мили.

Сознавая любовь свою к Елене, Эдмон чувствовал, что и он не совершенно чужд ее сердцу. Казалось очень возможным сделаться ее мужем, получить законные права над нею. Теперь она стояла перед ним, она — сама к нему писавшая: ему стоит только слегка дотронуться рукою до ее платья, шепнуть ей на ухо одно слово, и она увидит его, узнает. Зачем же он медлит, зачем при одной мысли заговорить с нею дрожит, как ребенок, пойманный в шалости и ожидающий гнева учителя?

Через несколько времени, по совершении известных форм, этот корпус, согнувшийся для моления, эти белые руки, перебирающие страницы молитвенника, эти черные глаза, читающие слова, понятные сердцу Елены, — все это может принадлежать ему безраздельно, все это может быть ему отдано на всю жизнь с доверчивостью, с любовью. Отчего же, когда одно присутствие Елены возбуждает в нем страстные чувства, колеблется он заговорить с нею? Чего же ждет он?

Влюбленные ждут обыкновенно случая, своего бога-покровителя, и случай не замедлил представиться на выручку нашему герою.

Елена, с самого своего прихода в церковь, стояла на коленях, так что стул ее все время оставался свободным; встав, подобно всем, на колени, Эдмон облокотился на этот стул, задумчивость до того овладела им, что он не заметил, когда все встали, и продолжал один



стоять на коленях.

Севши на стул, Елена почувствовала головою чьи-то руки, сложенные на спинке ее стула.

— Извините... — сказала она, оборачиваясь, но, обернувшись совершенно, узнала Эдмона и невольно вскрикнула.

— Что? Что такое? — спросила набожная Анжелика, отводя глаза от молитвенника.

— Ничего, — отвечала Елена, — я неловко села.

Успокоенная этим ответом, Анжелика снова принялась за свое дело.

Есть люди, молящиеся по убеждению, они молятся сердцем; есть другие, молящиеся по привычке, и они молятся языком.

Анжелика принадлежала к числу последних.

Легкий крик Елены вывел Эдмона из задумчивости.

«Она меня узнала, — сказал он. — Только бы не оскорбило ее, что я и здесь решился ее преследовать. Если бы мог я открыть ей свое сердце, рассказать все, о чем я мечтал этой ночью! Если б мог я объяснить ей, что моя мать любит уже ее, как дочь, и совершенно заменит ей ее мать, если бы смел я признаться ей, что вот уже два дня мысль о ней не покидает меня... Поверит ли она, что в два дня я уже успел так влюбиться? Как заговорить с нею? При гувернантке нельзя, а между тем мне это необходимо».

А Елена думала в то же время:

«Он здесь. Как же он узнал, что хожу сюда? Ведь не случай же привел его, он пришел именно для меня. Стало быть, он меня любит. Получил ли он письмо мое? Теперь, пойдет ли он за мной после обедни? Решится ли заговорить? Нет, верно покажет вид, что меня не знает. А ведь имеет право требовать, чтоб я объяснила письмо свое. Да еще знает ли он, что оно от меня?»

Только бы не узнала Анжелика! Боже мой, он бледен».

Действительно, Эдмон был бледнее обыкновенного: он лег спать в четыре часа утра, а в восемь был уже на ногах.

Елене очень хотелось обернуться: она чувствовала пожиривший ее взгляд Эдмона, но обернуться не смела, потому что Эдмон следил за всеми ее движениями.

Оба они были исполнены одною мыслью, оба стремились к одной цели: оба жаждали откровенного, теплого разговора и между тем избегали друг друга: чувство уважения сдерживало Эдмона, Елену удерживало чувство стыдливости.

В любви много этих необъяснимых тонкостей, которые можно чувствовать как звук или запах, но нельзя ни осязать, ни анализировать.

Служба уже кончилась, а Елена все еще стояла, будто пригвожденная к полу.

— Что ж вы стоите... идемте, — сказала почтенная гувернантка, закрыв свой молитвенник и не приписывая ничему особенному рассеянность своей воспитанницы.

Но Эдмон был проницательнее ее. В уме его промелькнула отрадная для молодого человека мысль:

«Она думает обо мне!»

Выходя из церкви, Елена бросила в сторону косвенный взгляд; Эдмона она не заметила, но ей чувствовалось его присутствие.

«Придет ли он сегодня к отцу?» — задала себе вопрос молодая девушка. Только при самом выходе, взглянув в сторону еще раз, увидела она де Пере; он выходил в противоположную дверь.

«Как деликатен, — подумала Елена. — Нисколько не пользуется и не употребляет во зло своего положения».

Сердце ее радо было случаю за что-нибудь благодарить Эдмона.

А Эдмон был счастлив вполне: в самом деле, вряд ли кому в два дня удавалось сделать так много.

Счастлив он был еще тем, что не знал истинной причины своих быстрых успехов.

На улице Елена заметила его в двадцати шагах перед нею, идущего по направлению к ее дому.

Анжелика шла медленною, степенною походкою, не говоря ни слова, будто боясь неуместным движением утратить полученную ею в церкви благостыню.

В ту самую минуту, когда Елена взялась за ручку своей двери, Эдмон быстро обернулся и безмолвно приложил к губам полученную им накануне записку.

Глаза Елены тотчас же опустились, а лицо загорелось ярким румянцем.

«Письмо от нее, — решил молодой человек, — во что бы то ни стало я буду благодарить ее — но как заговорить с нею?»

И Елена скрылась за дверь, а Эдмон все еще стоял, неподвижно устремив глаза на камни тротуара, которых касались ее маленькие ножки.

Войдя в свою комнату, Елена первым делом подошла к окну, намереваясь еще раз взглянуть на заинтересовавшего ее молодого человека, но несносное окно было отворено, шторы были подняты: не было никакой возможности посмотреть в окно и не быть замеченною с улицы.

Впрочем, Эдмон едва ли бы ее увидал. Мечты его и неподвижное созерцание тротуара были неожиданно прерваны знакомым ему голосом, раздавшимся над самым его ухом.

— Влюбленный уж здесь — и мечтает! Давно ли?

Эдмон обернулся: перед ним стояла Нишетта, в руках ее была дамская картонка.

— Это вы, Нишетта, — сказал он. — Что вы здесь делаете?

— Хорош вопрос, что делаю! Вы уж и забыли, что я обещалась помогать вам.

— И вы приступили уже к исполнению обещания?

— Как видите.

— Я ничего не вижу.

— Что у меня в руках?

— Право, не знаю, картонка какая-то.

— Ну...

— Ну...

— Какой недогадливый! В картонке шляпка и чепчики, и я иду к г-же Елене Девон. Поняли?

— Понял; ну а вдруг вас не примут?

— Вот мило! Иду, стало быть, примут.

— И вы ее увидите... завидую вам!

— А вы видели ее?

— Видал.

— В церкви?

— В церкви.

— И на целый день счастливы?

— Счастлив — что ж делать?

— А кому вы этим обязаны?

— Как кому? Ей — я думаю.

— Ей! Неблагодарный вы — вот что! А кто вам посоветовал идти в церковь — забыли?..

— Вам обязан, вам, моя добренькая. Только не сердитесь.

— Не сержусь, не сержусь; прощайте.

— Так вы... так вы точно идете к ней?

— Так шучу я, что ли?..

— И вы обо мне будете говорить с нею?

— Нет, об Густаве. Еще спрашивает!

— Только, Нишетта... знаете ли: осторожнее...

— Мне не учиться! Лучше вас знаю женское сердце. Хочу, чтобы вы были счастливы — и будете, и все-таки будете обязаны мне. Прощайте, прощайте... Заходите ко мне в два часа: много порасскажу вам.

— Осторожнее, Нишетта... ради Бога...

— Подите вы! Трус! В два часа, помните.

— В два часа.

И легко перейдя на другую сторону улицы, Нишетта скрылась за дверью, еще раз улыбнувшись влюбленному.



Было еще слишком рано для того, чтобы Елена могла принять Нишетту, но модистка, сообразив, что дело было летом и в воскресенье и что, следовательно, доктор непременно утром же поедет с дочерью за город, решила безотлагательно покончить дело. В простоте сердца она веровала, по старинному преданию, что в воскресные летние дни весь город переселяется за город.

За решимостью исполнение последовало быстро. Нишетта надела легонькую соломенную шляпку, завернулась в маленькую шаль, наполнила картонку разнообразными модными изделиями и направилась на улицу Лилль, где, как известно читателю, встретила Эдмона.

Когда Нишетта вошла, Елена была в кабинете отца, по обыкновению работавшего утром.

— Вас какая-то женщина спрашивает, — сказала ей вошедшая Анжелика.

— Какая женщина? — спросила Елена.

— Говорит, что вы ее не знаете, у нее картонка в руках.

— Верно, из модного магазина, — заметил доктор. — Ступай, друг мой, купи себе обновочек к лету.

Дево поцеловал дочь и принялся опять за перо оканчивать давно начатое им сочинение, в котором ученый доктор предполагал объяснить человечеству вечное начало жизни.

— Где же? Кто меня спрашивал? — сказала Елена, вбегая в свою комнату.

— Ждет в передней, — отвечала Анжелика.

— Так просите сюда.

Когда Нишетта вошла, Елена невольно залюбовалась хорошенькою головкою гризетки: ее удивление не ускользнуло от бойкого взгляда нашей приятельницы, и нельзя сказать, чтобы не понравилось ей.

— Я имею честь видеть г-жу Елену Дево? — спросила Нишетта.

— Я Елена, — отвечала дочь ученого доктора.

Анжелика, считавшая исключительною обязанностью всюду соприсутствовать своей воспитаннице, слушала себе хладнокровно, стоя и пользуясь преимуществом толстых женщин складывать на животе руки.

Нишетте очень хотелось удалить эту непредвиденную ею свидетельницу: она понимала, что при гувернантке Елена не решится быть откровенною.

— Я пришла показать вам, — начала Нишетта, — последние фасоны чепчиков, воротничков, рукавчиков...

— Покажите, пожалуйста, покажите, — отвечала Елена, садясь и с любопытством заглядывая в картонку, поставленную Нишеттой на кресло.

— Это вот по только что вышедшему журналу...

— Вы не из магазина ли, что на улице Сен-Тома?

— Нет, — отвечала Нишетта, быстро смекнув, что пришел удобный случай удалить гувернантку, заговорив об Эдмоне, потому что гризетка не сомневалась, что Елена непременно захочет узнать кое-какие о нем подробности. — Я не работаю в магазине, я живу одна. К вам я прислана по рекомендации знакомой вам дамы, г-жи де Пере.

— Так вы от г-жи де Пере? Вы ее знаете? — с изумлением, почти с радостью,

воскликнула Елена.

— Очень хорошо знаю, я на нее постоянно работаю уже несколько лет.

— И она именно дала вам мой адрес?

— Да, я прислана от нее.

— Это странно!

— Что странно?

— Послушайте, Анжелика, — сказала Елена, обращаясь вместо ответа к гувернантке, — будьте так добры... у меня есть до вас большая просьба...

— Что вам угодно?

— Потрудитесь сходить к портнихе... я заказала ей розовое платье, а теперь розовый цвет к этому не подходит, так пусть она, если еще это можно, делает мне не розовое, а голубое платье, слышите: голубое... сходите, пожалуйста.

— Сейчас, — отвечала достойная гувернантка, нисколько не подозревая, почему розовый цвет вдруг сделался цветом неподходящим.

— Это не так близко, — продолжала Елена, — но мы не сядем обедать без вас.

Последнее замечание пришлось Анжелике очень по вкусу, и она немедленно стала надевать шляпку.

— Я бы вас не беспокоила, послала бы человека, — шепнула ей Елена, — да боюсь, что-нибудь перепутает.

— Как можно человека!

— Вы ведь любите чепчики? — тихо и вкрадчиво напевала ей Елена.

— А вам что?

— Нет, любите?

— Да, люблю, а что?

— Так, я только спросила.

«Купит мне чепчик! — подумала Анжелика. — Только бы догадалась — с пунцовыми лентами!»

И напутствуемая надеждой, почтенная гувернантка понеслась на всех парусах к портнихе.

«Дела идут хорошо, — подумала Нишетта. — Девочка влюблена, заметалась...»

И гризетка открыла картонку.

— Садитесь, — сказала Елена, — так будет удобнее.

С этими словами она придвинулась к Нишетте и взяла картонку.

— Вот ночные чепчики с розовыми лентами, — сказала Нишетта. — Розовый цвет вам, кажется, нравится?

— Так вы работаете на г-жу де Пере? — начала допрашивать Елена.

— Да, — отвечала Нишетта и в то же время подумала: «Вот оно!»

— Сколько ей, вы думаете, лет?

— Она еще очень молода; ей всего тридцать девять лет, но никто этого не скажет, — отвечала Нишетта, делая ловкий поворот разговора, — хотя ее сыну уже двадцать три года.

— Так у нее сын есть? — спросила Елена, устремив, по-видимому, все внимание на ночной с розовыми лентами чепчик.

— Как же! — отвечала гризетка. — И какой добрый! Какой прекрасный, умный молодой человек! Мать им не надышится!

— Вы его тоже знаете? — сказала Елена несколько уже дрожащим голосом.

— Знаю; я так часто вижу его у г-жи де Пере...

— Очень миленький чепчик, — перебила Елена, стараясь показать, что предшествовавший разговор интересовал ее очень мало.

— Угодно вам будет примерить? — сказала Нишетта, вставая.

— Позвольте.

— Как он вам, к лицу? — заметила Нишетта, посмотрев в зеркало на Елену.

— Что это стоит?

— Самая безделица. Сойдемся в цене, когда вы выберете все, что вам понравится.

Елена сняла чепчик, отложила его в сторону и села.

— Что у вас еще есть?

За этим вопросом последовал новый осмотр картонки.

Нишетта остерегалась первая заговорить об Эдмоне, притом же она была уверена, что Елена спросит, не утерпит; так оно и случилось.

— Чуть ли отец мой не знает Эдмона де Пере, — сказала Елена.

— Ну да, Эдмон! Его Эдмоном зовут! — подхватила Нишетта. — Разве я называла вам его по имени?

— Нет, я видела у отца его карточку, — отвечала, покраснев, Елена, — теперь я вспомнила.

— Ну да! Он ходил к вашему батюшке; был не совсем здоров и хотел успокоить мать; она так всегда о нем беспокоится.

— Ну, и успокоил ее?

— Успокоил совершенно, — отвечала Нишетта, чтобы только отвечать что-нибудь, не обнаружив настоящую причину его визита.

«Бедная женщина! — думала Елена. — Она и не подозревает опасности его положения!»

— Он вчера был здесь, — сказала она вслух.

— А сегодня утром не приходил? — спросила Нишетта.

— Нет.

— Вы это наверное знаете?

— Наверное, — отвечала Елена, покраснев еще раз. — А разве он хотел быть?

— Я его сейчас встретила на этой улице.

На это Елена не отвечала ничего и потупилась.

Гризетка ловко вела атаку: неприятель был ею отгиснут в самые дальние ретраншементы.

— Мне нужен чепчик, — сказала Елена, несколько оправившись, — вот для этой дамы, что здесь была и пошла к портнихе.

— Угодно вам в этом роде? — сказала Нишетта, вынимая еще чепчик из картонки.

— Да, хоть такой...

— Я совершенно такой делала г-же де Пере.

Елена решилась не отвечать; ей и то уж казалось, что об Эдмоне было говорено слишком много, хотя она и не подозревала, как интересуется Нишетту все ею сказанное о молодом человеке.

Гризетка угадала ее решимость и дала себе слово заставить говорить ребенка.

— Точно такой, — продолжала она, — и именно это вкус ее сына. У него так много вкуса! Вообразите, он занимается матерью, как брат сестрою или как муж молодой женой.

Ведь вот, кажется, кто достоин-то счастья... а между тем...

— Что между тем? — быстро спросила Елена.

— Не знаю, что с ним сделалось последние два, три дня: грустен, задумчив... Что-то его сильно занимает. Г-жа де Пере заметила это и сказала мне: она очень добра со мною, знает меня с самого детства и любит, как дочь; она мне всегда все рассказывает.

— А не знает она, отчего он сделался задумчив? — спросила Елена, с невероятным вниманием рассматривая подвернувшиеся ей под руку кружева.

— Как же не знать! Он ведь ничего от нее не скрывает.

— Что же с ним?

— Жениться думает.

— Отчего же не женится?

Нет надобности говорить, как сильно билось сердце Елены с самого начала этого разговора; как она против воли увлеклась им неодолимо, сознавая вполне, что говорить таким образом с незнакомою женщиною странно и что гризетка каждую секунду может вырвать у нее ее тайну.

Она успокаивала себя только тем, что сама не понимала хорошо, что происходит в ее сердце: как же могли об этом догадаться другие? Ей и в голову не приходило, что Нишетта была подслана Эдмоном; невинный ребенок, она бы усомнилась, если бы ей даже это сказали.

— Не женится потому, что еще не знает, любит ли его девушка, в которую он влюблен, — продолжала Нишетта.

— Так он никогда не говорил с нею?

— Никогда; он ее только видел.

— И, никогда не говоривши, полюбил?

— Да, это вам кажется странным, но заметьте: эта девица так хороша, столько в ней чувства и души, что, взглянув на нее раз, можно за нее отдать жизнь.

«Не слишком ли я далеко зашла?» — подумала Нишетта и тотчас же, вынув из картонки воротнички, показала их Елене.

— Это очень миленькие воротнички, — сказала она, — кружева самые простенькие, для молодых особ очень хорошо.

— Да... точно... — бормотала Елена, — с большим вкусом... я возьму...

— Так два чепчика и воротнички? — сказала Нишетта, давая ей время оправиться от смущения.

— Да, — отвечала Елена, не слыхавшая даже вопроса.

Нишетта встала.

«Что ж вы мне не говорите об Эдмоне?» — едва не спросило влюбленное дитя.

Гризетка, не спуская глаз с Елены, поняла, что происходит в ее сердце, но, боясь изменить себе, твердо решила ждать, пока г-жа Дево сама не спросит о нем.

— Больше ничего не возьмете? — сказала она, закрывая картонку.

— Нет, благодарю вас, — отвечала Елена.

Нишетта долго завязывала картонку, потом тихо подошла к камину, взяла перчатки и медленно стала надевать их, не говоря во все это время ни слова и предоставляя Елене сыскать удобный предлог для возобновления обоих интересовавшего разговора.

Елена тщетно искала этот предлог.

Не было для нее никакого сомнения, что де Пере влюблен именно в нее; ей отрадн



было слышать слова, подтверждавшие ее уверенность, но заговорить о нем она не решалась. И чем более проходило времени, тем затруднительнее ей казалось возвратиться к прежнему разговору и не обратить на этот возврат внимания Нишетты, не удивить ее, или, что хуже всего, не поселить в ней кое-каких подозрений.

— Прощайте, — сказала Нишетта, натянув, наконец, перчатки. — Позвольте надеяться, что вы и вперед не оставите меня своими заказами.

— Вы где живете?

Нишетта дала ей адрес.

— Сколько же вам следует заплатить? — спросила Елена.

— Сочтемся, когда будете что-нибудь заказывать, — отвечала Нишетта, направляясь к дверям.

Видя, что Нишетта уже уходит, Елена, чтобы только произносить и слышать любимое имя, решилась сказать то, о чем прежде никак не думала говорить.

Колеблющимся, исполненным внутренней борьбы голосом выговорила она, когда Нишетта взялась за ручку замка:

— Послушайте.

Сказав это, она вся покраснела, опустила глаза и не могла, не решалась продолжать далее.

— Вы меня изволили звать? — спросила Нишетта.

— Да, потрудитесь затворить двери.

Нишетта повиновалась.

— Вам покажутся странными мои слова; но признаюсь вам — г-н де Пере сильно меня занимает.

Нишетта хотела было отвечать, но Елена тотчас же продолжала:

— Я интересуюсь им так потому, что знаю про него одну вещь, которую, кроме моего отца и меня, не знает никто.

— Что же это такое?

— Г-н де Пере болен и не подозревает опасности своего положения. Вы так хорошо знакомы с его матушкой, скажите ему, когда увидите, чтобы он лечился серьезно... чтобы уехал отсюда... или нет, пусть остается здесь, только чтоб лечился непременно, чаще навещал моего отца, а уж отец будет наблюдать за ним, как за сыном. Теперь вы поймете, почему я много думаю об этом молодом человеке. Как же мне не думать о нем, когда я знаю, что его здоровье и самая жизнь в опасности?

Нишетта, никак не ожидавшая такого открытия и любившая Эдмона, как брата, побледнела.

— Уверены ли вы в том, что говорите? — сказала она.

— Уверена.

— Г-н де Пере точно болен?

— Болен и болен опасно.

— Стало быть, Густав не ошибался... — тихо сказала Нишетта.

— Что вы сказали?

— Я сказала, — дурно скрывая волнение, отвечала гризетка, — что вы — ангел доброты и что теперь мне неудивительно, почему Эдмон любит вас так сильно.

— Как? Что вы сказали? — вскрикнула Елена.

— Теперь нечего притворяться и скрывать от вас истину, — сказала Нишетта. — Г-н де

Пере влюблен в вас, и вы... вы его сами любите, может быть, не замечая этого. Пусть покуда это остается между нами: будьте уверены, я не выдам никому вашу тайну. Когда-нибудь я вам расскажу все, и вы, может быть, будете даже мне благодарны. Теперь помните одно: Эдмон болен; малейшее огорчение может убить его. В ваших руках жизнь и счастье человека.

Слова эти, высказанные с увлечением, смутили Елену; без объяснений и будто непроизвольно поняла она, что сердце гризетки способно сочувствовать ее сердцу.

— Ради Бога, чтобы его мать не знала настоящее его положение! Его можно спасти, не говоря ей ни слова, — воскликнула она с наивной душевностью.

— Для его спасения довольно вашей любви; он уже будет счастлив сознанием, что вы его любите.

— Но... разве я сказала...

— Тсс!.. Сюда идут...

В комнату вошла Анжелика.

— У вас мой адрес, — говорила гризетка при ее входе, — что вам понадобится, потрудитесь прислать записку, и я явлюсь тотчас же.

Елена молча кивнула головою; отвечать она была не в состоянии.

— Платье ваше будет на днях готово, розовое, — сказала Анжелика по уходе модистки.

— Благодарю вас; вот вам чепчик, милая Анжелика; нравится вам?

— С пунцовыми лентами! Милое дитя, как вы добры, что обо мне вспомнили!

И, выражая признательность, почтенная гувернантка стиснула Елену в объятиях.

Нишетта никак не ожидала таких последствий от своего посещения. Пришла она, веселая и беспечная, узнать, может ли Эдмон надеяться быть любимым, и вот возвращается домой, взволнованная, опечаленная тяжелым открытием. Эдмон болен, жизнь его в опасности! Что же она скажет ему, когда он придет в два часа узнать, в каком положении его дело?

Болезни, опасения, горе были почти незнакомы гризетке: бедная совсем растерялась. Все ей представлялось в черном цвете, во всем видела она дурные приметы. Новость положения смутила ее совершенно, и она решила не делать ни шагу, не говорить ни слова, пока не расскажет всего Густаву и не посоветуется с ним.

Под влиянием недавнего своего свидания с Еленой она тотчас же по приходе домой написала Домону:

*«Как только получишь это письмо, тотчас же приходи, милый Густав: бедный друг наш Эдмон крепко нуждается в нашей привязанности. Помнишь, как часто я видела тебя задумчивым и что ты отвечал мне на мои вопросы, что с тобою? Ты всегда говорил мне, что опасаясь за его здоровье, что он кашляет, что отец его умер тридцати лет и что с каждым годом ты все сильнее беспокоишься за Эдмона. Знай же, друг мой, что предчувствия не обманули тебя. Эдмон болен тою же болезнью, что и отец его: я узнала это от Елены Дево, а ей сказал отец ее, доктор. Нужно нам подумать, как бы спасти его, если это еще возможно. Как мне это Елена сказала, я все еще не могу прийти в себя; сердце ноет, дышу с трудом и вот теперь пишу тебе, а сама плачу. Эдмон будет у меня в два часа; приходи, научи меня, что делать. Боюсь — не придешь ты — не сумею перед ним скрыть своего беспокойства.*

*Знал бы ты, что за ангельская душа эта Елена! Вообрази, она уже любит его: я уверена, он этим обязан своей болезни. Вот тебе что вышло из моего желания сделать ему добро; знала бы, так уж лучше не ходила бы. Ты бы сходил сам к г-ну Дево; скажи, пусть возьмет что хочет, только вылечит бедняжку. Он еще на ногах, ничего не знает: как же нам не спасти его? Мною располагай совершенно: для твоего друга я готова на все.*

*Нишетта».*

Нишетта запечатала письмо, надписала адрес Густава и спустилась к привратнице.

— Отошлите тотчас же это письмо по адресу, — сказала она, — да скажите, что нужен ответ.

Между тем Эдмон, вместо того чтобы воротиться домой к матери, которая, как известно читателю, легла поздно и должна была еще спать, пошел без цели, куда глаза глядят, весь преданный любви и надеждам.

Пространствовав довольно долго по улицам, он почти бессознательно отправился к Густаву; хотелось ему показать другу письмо, поделиться с ним своим счастьем.

Густава не было дома; лакей его, привыкший смотреть на Эдмона как на друга своего господина, просил его остаться и подождать, уверяя, что Домон скоро будет.

Эдмону нечего было делать; он согласился и, бросившись на диван, погрузился в свои мечтания.

Не провел он и получаса в таком положении, как явился посланный от Нишетты.

— Г-на Домона дома нет, — говорил слуга, — оставьте письмо.

— Нельзя, — отвечал посланный, — велено ждать ответа.

— Так подождите, пока придет.

Посланный сел и решился ждать терпеливо.

Терпения у него хватило, впрочем, не более как на четверть часа. По прошествии этого времени он встал и принялся шагать по комнате.

— Везде так ждать, — говорил он с сердцем, — так и дома не окажешься, не много в день-то находишь!

— Что же мне-то делать, друг ты мой любезный? — отвечал слуга. — Г-на Домона нету дома, а на нет и суда нет.

Посланный решился подождать еще несколько минут, после чего опять принялся бормотать:

— Не велено приходить без ответа! Вот!

— Давай сюда письмо! — сказал слуга, в свою очередь выйдя из терпения.

— Так-то вот лучше! Я ведь знал, что господин твой дома, — отвечал посланный, отдавая письмо.

Лакей вместо ответа пожал плечами и с письмом в руке пошел в комнату, где сидел Эдмон.

— Сил нету, г-н де Пере, — сказал он молодому человеку, с которым от частых свиданий говорил несколько фамильярно.

— Что такое случилось, братец? — спросил де Пере.

— Да что, сударь! Пришел какой-то с письмом — прочь не уходит! Без ответа, говорит, не велено. Я, говорит, бедный человек, время даром теряю.

— Что же мне-то делать, братец?

— Вы друг г-на Густава, все его дела вам известны; прочтите это письмо; может, и дадите какой ответ — а мне уж невозможности с этим надоедалой!

— Да это от Нишетты! — сказал Эдмон, взяв письмо и взглянув на адрес. — Что бы она могла писать к нему? Вероятно, рассказывает о своем свидании с Еленою: во всяком случае, я могу прочесть... Я, братец, дам ответ.

Эдмон распечатал письмо и принялся читать.

Дочитав его до конца, де Пере взглянул в зеркало: он был бледен как полотно.

— Что же сказать прикажете? — спросил слуга.

— Скажи, что г-н Домон сам будет.

Эдмон провел рукой по лицу: лоб его был покрыт холодным потом, две слезы выкатились из глаз.

В этих слезах выразилось все его нравственное существование.

— Бедная мать! — были его первые слова.

Эдмон положил письмо в карман; незачем было его перечитывать: оно наизусть было ему известно.

Он взял шляпу и, как помешанный, без мысли, без цели вышел из дому.

Пройдя несколько времени, он осмотрелся и увидел себя на бульваре; веселая толпа беспечно проходила мимо него, ему стало тяжело и неловко, и он тотчас же отправился на

улицу Годо.

Нишетта была поражена его бледностью.

— Вы писали к Густаву? — сказал он, протягивая ей горячую руку.

В голосе его было столько уныния, что Нишеттою сразу овладело предчувствие чего-то дурного.

— Да... — отвечала она нерешительно.

— Его не было дома, моя добренькая Нишетта, и я первый прочел ваше письмо.

Страшный крик вырвался из груди гризетки.

— Боже! Что я сделала! — сказала она, бросившись на колени и закрывая руками лицо.

— Вы сделали то, что должны были сделать. Вы ангел, Нишетта; в вашем письме выразилась вся ваша прекрасная душа. Ведь я бы узнал же истину, рано или поздно. Нечего и говорить об этом. Я пришел поблагодарить вас за ваше истинно дружеское расположение, и еще прошу вас: не говорите ни слова моей матери. Она не вынесет этого и умрет.

При одной этой мысли в глазах Эдмона выступили слезы.

— А как я был счастлив!.. — тихо продолжал он. — Вы Елену видели? — вдруг обратился он к Нишетте.

— Видела, — отвечала Нишетта, прикладывая платок к влажным глазам.

— Это она и открыла вам?

— Да, она.

— Не заметили вы: была она при этом взволнована?

— О! Она едва могла говорить.

— Бедное дитя! Она могла бы любить меня!

— Она уже вас любит, Эдмон. Полно! Может быть, наши опасения напрасны.

Эдмон грустно улыбнулся. Сознание смертного приговора выразилось в этой улыбке.

— Спасибо, Нишетта... друг мой, спасибо.

В это время вошел Густав, не знавший ничего происходившего.

— Ты получил адресованное ко мне письмо? — сказал он, обращаясь к Эдмону.

— Да, — отвечал Эдмон, передавая Густаву письмо, — прости меня, я его прочитал; оно должно огорчить тебя, друг мой.

Пробежав письмо, Густав изменился в лице, поднял глаза к небу и мог только выговорить:

— Так было угодно Богу!

— Да, так было угодно Богу, — повторил Эдмон, — но вы, друзья мои, за что вы будете за меня страдать? Вы до сих пор были счастливы, довольны, здоровы... За что я буду надоедать вам?..

— Эдмон, как тебе не стыдно! — сказал Густав.

— Не говорите этого, Эдмон, — повторила Нишетта.

Эдмон положил руки на головы Домона и Нишетты и, крепко поцеловав их, вымолвил задыхающимся от слез голосом:

— О! Как я несчастен, друзья мои!

И ослабев от избытка горестных ощущений, он упал на стул и залился горькими слезами.

Густав и Нишетта молча пожали руку Эдмона; они оба поняли, что утешения и сетования были бесполезны.

— Полно! Довольно ребячиться, — сказал Эдмон, неожиданно вставая и намереваясь уйти.

— Куда ты? — спросил Густав.

— Повидаться с матерью, — отвечал Эдмон, стараясь казаться равнодушным. — С тобой еще мы увидимся?

— Непременно; я сегодня буду у вас.

— Так до свидания. Прощайте, добрая моя Нишетта, — сказал де Пере, обнимая гризетку. — Еще раз благодарю вас за веселый вчерашний обед. Когда-нибудь еще устроим такой же.

Проводив Эдмона до дверей, Густав был поражен бледностью и каким-то насильственным спокойствием своего друга.

— Не решайся ни на что без меня, — сказал он.

— На что мне решаться? И зачем? — отвечал де Пере с улыбкой. — До того ли теперь?

— Будь мужественнее! Не падай духом.

— Разве я унываю? Люди, мой друг, могут ошибаться, не правда ли? Бог не без милости! Еще есть надежда.

Эдмон еще раз пожал руку Густава и поспешно ушел.

— Ведь говорит так, чтоб только не огорчать нас, — сказал Густав, закрыв дверь и возвращаясь к Нишетте. — А посмотри только на лицо его: смерть! Страх, что происходит! И зачем было тебе писать это несчастное письмо!

— Могла ли я думать, что оно попадется Эдмону? — отвечала, заливаясь слезами, Нишетта. — Густав, не брани меня: мне и без того больно.

— Вот что, Нишетта, не будем обманывать себя пустыми надеждами. Лучше всегда рассчитывать на дурное: ошибемся, так наше счастье. Эдмону остается жить не более пяти лет.

— Бедный Эдмон!

— Так пусть эти пять лет проживет он счастливо; я должен ему это устроить, потому что, видишь, Нишетта, я к нему так привязан, что если он умрет и если мне в чем-нибудь придется упрекнуть себя — я застрелюсь сам. Теперь вот что скажи: Елена живет с отцом, больше с ними никого нет?

— Никого... Гувернантка...

— Ну... а больше никого?

— Никого, а ты хочешь идти к ней?

— Да, пойду.

— Зачем?

— Это уж мое дело, я должен.

Густав обнял Нишетту и вышел.

Когда он скрылся в дальней аллее бульвара, гризетка накинула шаль и отправилась в церковь; там она поставила свечу, с верою помолилась и воротилась домой с облегченным сердцем.

В это время Эдмон был уже у матери; мысли и опасения, волновавшие ее накануне, почти совершенно рассеялись, она встретила сына улыбкой и поцелуем.

Но Эдмон не мог одолеть тайной грусти, против воли выражавшейся на лице его; мысль о письме его не покидала.

Несколько раз г-жа де Пере с участием расспрашивала его, что с ним, и по неясным ответам его приписала его задумчивость первым волнениям возникающей страсти.

Сердцу человеческому, успокоенному надеждой, трудно опять возвращаться к сомнению: г-жа де Пере после тяжелого предчувствия, омрачившего ее накануне, как мы видели, почерпнула новые силы в религии.

Эдмон, по возможности, старался быть веселым за завтраком, рассказывал матери про свою встречу с Нишеттою и про назначенное ею свидание, но еще тяжелее стало ему, когда он остался в своей комнате один, с глазу на глаз с угрожающей ему будущностью.

Он закрыл лицо руками и задумался.

«Странная наша жизнь! — думал он. — Вот родился ребенок, молодые супруги благословляют небо, видят в этом ребенке залог своей взаимной любви. Он открывает глаза, новая душа жаждет впечатлений и уже откликается на все окружающие ее явления. За новорожденным следит зоркий глаз матери, которую беспокоит каждый ничего не выражающий крик ребенка, за ним ходят, как за слабым растением, для существования которого каждый день нужно определенное количество воды, света и тени. Воспитывают его так, как будто ему определено жить вечно; ум его обогащают познаниями, в сердце развивают чувствительность. Он подрастает. На него возлагают надежды, замечают его склонности, вкусы, стараются угадать призвание, предоставляют ему выбор карьеры, доставляют ему знакомства, связи, гордятся его успехами, благодарят и благословляют Бога. Вот ему минуло двадцать лет: жизнь является перед ним, полная очарований; в нем развились здравые понятия рассудка и любящие способности сердца. Он уже сам надеется составить себе будущность, чувствует требующее исхода раздражение нравственных сил, он уже может дарить окружающим его счастье так же, как в детстве принимал его сам. В сердце его встают благородные побуждения быть полезным деятелем в обществе, внести свою долю труда на алтарь науки или искусства, мысль его принимает обширный полет, он занят... будущность ему улыбается — и он счастлив. Родители его им не на радуются, видя в нем живой памятник своей любви и молодости; и вот в одно прекрасное утро в ребенке замечают расстройство легких, говорят, что он должен умереть, что через самое короткое время с его трупом придется заколотить в четыре доски все его прошедшее и будущее, все его надежды и счастье; что он более не увидит тех, кого любил, что любящие его более его не увидят, и что вместо исполненной жизни и сил человека останется могила с вырезанным на камне именем покойника.

Ужасно! И эта участь предстоит мне!

Да, я живу, мыслю, чувствую, люблю, мое существо откликается всему, требующему в природе ответа, и вдруг через самое короткое время глаза мои уже не будут видеть, тело будет лежать бездыханно, мозг мой уже не будет действовать, сердце, так сильно бьющееся теперь при звуке одного имени, умрет, и моя любовь пропадет бесследно. Я умру, и никто не заметит пустого места, никто не заметит моего отсутствия; появятся другие люди, так же будут жить, видеть, понимать, чувствовать и любить и так же, как я, исчезнут!..

В мои годы жизнь расточают весело, беззаботно; в прошедшем воспоминаний немного, будущее кажется вечным; дни пролетают один за одним незаметно — так богато сердце

надеждами. А я — я не могу себя обманывать, я знаю свое положение: каждое утро станет меня будить мысль: кажется, вечером все кончится; каждый вечер буду засыпать, неуверенный, утром проснусь ли. И потом — потом вдруг моя мать страшно закричит — а я уже не услышу ее крика, потому что уже все будет кончено...

Надо мной прочитают молитву, уложат меня в тесный ящик, потом закопают в землю; в последнем пристанище будет мне лучше, покойнее, чем теперь, когда целый мир перед мною открыт...

Образ мой будет все тот же, разве посинеет да вытянется тело, но уже все земное будет мне чуждо, а душа полетит свободно...

Что бы я ни делал, что бы я ни придумывал — это должно сбыться.

А как многое привязывает меня к жизни! Я, во-первых, люблю мать, положившую в меня всю себя и не властную обеспечить мою жизнь. Я люблю Густава — да и как не любить его? Он бы, кажется, готов был принять от меня болезнь, если б знал, что это может составить мое счастье. Я люблю Елену... видел ее всего три дня и уже люблю, и уже она успела доказать мне и любовь и сочувствие... Люблю, наконец, Нишетту: доброе дитя будет обо мне искренно плакать...

И я все-таки должен упасть на половине дороги, и без меня все меня любившие должны продолжать путь свой...

А я еще плакал, часто плакал при мысли, что буду свидетелем смерти матери!.. Боже!.. Благодарю Тебя, что не знать мне этого горя!»

Исполненный грустных, сердце сжимавших размышлений, Эдмон встал и несколько раз прошелся по комнате; подойдя к окну, он его отворил и несколько времени безучастно смотрел на прохожих.

Вдруг непроизвольно произнес он дорогое ему имя Елены и, не давая себе отчета в своих действиях, подошел к столу, левой рукой облокотился и принялся писать:

*«Елена, — писал он, — чувствую, что люблю вас с сегодняшнего утра еще сильнее. Я вас видел в церкви: может быть, вы за меня там молились.*

*Чего не испытал я в эти три дня? Что мне теперь делать, Елена? Вы мне советуете ехать. Куда я поеду? Искать где-нибудь на юге климат, где бы мог протянуть несколькими месяцами более?*

*Чтобы мать узнала, что я болен! Чтобы вас больше не видал? Зачем я поеду? Чтобы возить по свету свою болезнь, свою скуку, свое отчаяние? Чтобы умереть под чуждыми небесами, в одиноком номере гостиницы? Стоит ли для этого спорить со смертью?*

*Но я еще могу быть счастлив; роковое открытие, сделанное мною сегодня, может даже быть причиной моего счастья. Бог и вы можете это сделать. Немного людей, уверенных в счастливой будущности, но я убежден твердо, что три года могу быть счастливым, бесконечно счастливым. Три года с любимой женщиною — разве это не вечность, разве на всю жизнь мало такого счастья?*

*Если бы я вам сказал, Елена: — Мне немного остается жить и от вас зависит, чтобы я проклинал или благословлял немногие оставшиеся мне годы. Пожертвуйте собой, будьте женой мне, и в короткое, определенное мне Богом время все, что только может сделать человек для счастья любимой женщины, все, о чем только может мечтать, — я все сделаю, осуществлю все.*



*Жертва велика, Елена, но моя смерть близка, я умру — вы будете свободны. Вы узнаете счастье жизни и потом выберете себе другого спутника, на долгую, безмятежную жизнь.*

*Именем вашей умершей матери, именем моей матери, которая меня не переживет, будьте моей, Елена: в час, мне определенный, я отойду с миром, исполненный благодарности и блаженства.*

*Сделайте это, Елена, и потом вы будете иметь право сказать себе: — Я сделала доброе дело, я спасла несчастного; без меня он бы умер в отчаянии, с проклятием; моя любовь осенила его, и он отошел тихо, сожалея о жизни, но не проклиная ее.*

*Как отрадна вам будет эта мысль, Елена, как высоко почувствуете вы себя в своем мнении! Да и кто знает...»*

Эдмон не закончил предложения; перо выпало из его рук. Промелькнувшая надежда его отуманила. Он прочитал письмо, подумал, разорвал его и бросил в камин.

«Глупец! — говорил он сам с собою. — Разве не она сказала мне, чтоб я ехал? Какое право имею я связать ее существование с моею болезнью, ее жизнь с моею смертью? Как решился я предлагать ей труп вместо мужа? Во имя чего сорву я цвет ее юности и брошу его на могиле? Разве она любит меня? Разве она может любить меня, когда я ни разу не говорил с нею, когда она всего только два раза меня видела? А я основал свои надежды на простом ее участии к несчастному! Безумец! Безумец!»

И Эдмон с отчаянием сжал руками голову.

«Но разве, если я не имею права на любовь ее, — продолжал он спустя несколько времени, — не имею я права любить ее, видеть ее? Я могу дать ей понять, что с того дня, как я ее увидел, я уже не принадлежу самому себе. Не заботясь о себе, я употреблю все время, остающееся мне жить, на обеспечение ее счастья, и горе тому, кого она полюбит и кто не сделает ее счастливою! Я пойду к г-ну Дево, я ему объясню все, передам всю правду. Пусть он примет меня к себе, как сына, пусть Елена любит меня, как брата. Я буду следить за ее каждым шагом, буду наблюдать за ней, как за ребенком; забуду в ней женщину. Привязанность моя будет привязанностью отца к дочери; она послушает моих советов, потому что близкая смерть состарит меня в глазах ее. Даже муж ее не станет ревновать, узнав меня.

Да, я не женюсь на ней. Пусть моя смерть доставит горе только тем, кто самую природою близко поставлен ко мне. Я не лишу мать последних годов моих, я буду весь принадлежать ей и навеки усну в ее объятиях».

Таковыми мыслями Эдмон давал пищу своему разбитому сердцу; потом он отправился из дома с намерением видеть г-на Дево, с надеждою встретить Елену.

«Какой предлог выдумать мне, чтобы говорить с Еленой?» — думал в это время Густав, направляясь на улицу Лилль.

«Нужно во всяком случае говорить с нею, — решил он. — Буду действовать открыто: дело идет о счастье друга».

— Доложите г-же Елене Дево, что с нею желают говорить, — сказал Густав, войдя в докторскую квартиру.

Это было сказано таким решительным тоном, что лакей, отворявший Густаву двери, беспрекословно повиновался.

— Вы меня спрашивали, милостивый государь? — сказала Елена, войдя в залу и с изумлением осматривая Домона.

— Я, — отвечал Густав, — и я буду просить вас затворить дверь в эти комнаты; то, что я вам скажу, не может, не должен слышать никто, кроме вас.

Елена не приходила в себя от изумления; но резкие эти слова были высказаны так убедительно, столько мольбы слышалось в голосе говорившего, что она, тотчас же затворив дверь, села и почти невольно сказала:

— Я вас слушаю.

— Вы молоды и прекрасны, — начал Густав, — ваш отец заслуженный, достойный всякого уважения человек, вы должны быть добры, сердце ваше должно быть склонно к сочувствию. Не удивляйтесь тому, что я буду говорить вам. Не зная, не думая, вы сделали виною страшного несчастья.

— Вы меня ужасаете, — вскрикнула Елена, решительно не понимая, о чем идет речь, не понимая волнения Густава, даже вовсе не зная его, потому что, встретив его с Эдмоном, она почти его не заметила.

— К вам приходила вчера молодая женщина с модными товарами?

— Приходила.

— Она говорила вам о г-не де Пере?

— Да, говорила, — отвечала, покраснев, Елена.

— Говорите со мной без боязни, потому что во мне только одно тщеславие: именно я считаю себя одним из самых откровенных людей. Вы сказали этой модистке то, что слышали от своего отца, то есть, что болезнь Эдмона смертельна. Я знаю эту девушку; ей известно, что я люблю Эдмона, как брата, она написала обо всем, но письмо, по несчастию, попало в руки Эдмона.

— Несчастный! — вскрикнула Елена.

— Да, несчастный, тысячу раз несчастный! — перебил Густав. — Несчастный потому, что в этом пророчестве смерти разрушение всех его надежд, всех привязанностей, всего счастья, о котором только мечтал он. Он любил вас, он и теперь вас любит — и должен заставить свое сердце молчать, сердце его не выдержит, разорвется в его груди, и он умрет, умрет даже ранее определенного ему срока. Я пришел к вам прямо, просто и говорю вам откровенно и честно: вас любит молодой человек, осужденный чахоткою умереть в юности — его мать живет им одним, его жизнью, его счастьем. Чувствуете ли вы в душе достаточно силы, чтобы быть ангелом-хранителем этого человека, чтобы не оставлять его своею привязанностью и попечениями до самой минуты его смерти и этим загладить зло, сделанное вами без вашего ведома? Или вы хотите, чтоб он уехал, чтобы умер где-нибудь на чужбине, не имея никакой отрады, кроме воспоминания о вашем имени, потому что с тех пор, как он узнал вас, любовь матери его уже не удовлетворяет.

Бывают чувства, не требующие объяснения.

Не передаем впечатления, произведенного этими простыми и в то же время странными словами на Елену; в минуту она сделалась женщиною; любовь, преданность, великодушные с силою заговорили в душе ее и внушили ей твердую решимость последовать благородному совету Густава.

Она встала и произнесла твердым голосом:

— Клянетесь ли вы, что все, вами сказанное, — правда?

— Клянусь, — отвечал Домон.

— Убеждены ли вы, что, выйдя за г-на де Пере замуж, я сделаю для его счастья все, что только в человеческих средствах, сколько бы ему ни оставалось жить?

— Убежден.

— Так передайте вашему другу, что я его люблю и что пока он жив, кроме него, я не буду принадлежать никому; вот кольцо, оставшееся мне после матери: снесите ему как залог моей клятвы.

Густав бросился к ногам Елены, целовал ее руки и плакал.

— Передайте мои слова г-же де Пере, — сказала она Густаву, — прощайте, я пойду молиться за своего мужа.

Сказав эти слова, Елена, гордая сознанием своего прекрасного поступка, сияющая юностью, красотой и любовью, удалилась, дружески кивнув головою Домону.

— Доброе сердце! Доброе сердце! — повторял Густав, быстро сбегая с лестницы. — Бедный Эдмон! Мне он, по крайней мере, будет обязан этою радостью!

В дверях встретил он своего друга, шедшего, как мы знаем из предыдущей главы, к г-ну Дево.

— Любит тебя! — закричал Густав. — Кроме тебя, не выйдет ни за кого замуж. Вот ее кольцо — вы уже обручены. Надейся, друг мой, надейся. — И он бросился в объятия де Пере.

Радость почти уничтожила Эдмона.

— Ты ее видел? — едва выговорил он задышающимся голосом.

— Видел.

— И она любит меня?

— Да, любит.

— И согласна выйти за меня замуж?

— Да говорят же тебе: да! да! да!

— Ах, Густав, я никогда не думал, что в одно и то же время можно быть так счастливым и так несчастным!

И де Пере снова принялся с горячностью обнимать своего друга.

— Вот помешанные, — заметил какой-то толстый господин, видевший эту сцену, — можно ли так обниматься на улице, что другим нет проходу по тротуару?

Первым движением Эдмона после объятий, так поразивших толстого господина, было идти к Елене, упасть к ее ногам и сказать ей, как он любил ее до этой жертвы и как эта жертва еще усилила его любовь, но Густав остановил его.

— Теперь Нишетта к ней ходит, — сказал он, — напиши письмо, Нишетта снесет.

— Правда, — отвечал Эдмон, увеличивая шаги, — пойдем же.

Эдмон был так счастлив сознанием любви Елены, что недавнее зловещее открытие совершенно сглаживалось в его уме. Помнил он только, что она его любит, будет его женою, и в восторге целовал переданное ему Густавом кольцо.

— Как она хороша, не правда ли? — говорил он Густаву. — Можно ли было думать четыре дня тому назад, когда мы проходили по этой же самой улице, что дело так разыграется? Да, — продолжал он, улыбаясь, — не дал мне Бог долгой жизни, зато он же ускоряет минуты моего блаженства, и я не в проигрыше. Ведь сама жизнь-то наша — несколько счастливых дней среди тысячи огорчений, страданий, постоянной борьбы и разочарований без счета. Жизнь вдруг улыбнулась мне — а еще сегодня утром я считал себя осужденным! Елена знает, что я должен умереть в молодости, и ее любовь отстранит от меня все огорчения.

На мою долю выпадут только счастливые дни, и, умирая, я найду в своих воспоминаниях столько счастья, сколько хватило бы на две жизни обыкновенной продолжительности. Разве счастье измеряется числом прожитых дней? Счастье заключено в днях, наполненных любовью, дружбою; только в них светлая сторона жизни. Могу ли я называться несчастным? Я? Был ли я когда-нибудь несчастен? Меня любят — любит мать, любишь ты, любит Елена! Много ли стариков, которые во всем своем долгом прошедшем найдут столько любви? Нет, Густав, я счастлив так, как и не мечтал никогда.

И Эдмон весело улыбался и шел, исполненный гордости.

Какая же страшная сила заключена в любви, когда на самое смерть смотрят при ней с улыбкой, когда сменяет она, всевластная, надеждою безнадежность, радостью горе?

— Я рад, что вижу тебя в таком положении, — сказал Густав, взявши своего друга за руки. — Надейся, друг мой, надейся. Почем знать? Может быть, доктор ошибся, и мы еще будем вспоминать когда-нибудь, что его ошибка только ускорила твою свадьбу с его дочерью.

Эдмон ничего не отвечал на это. Он не разделял надежды Густава. Притом же смутный голос, казалось, говорил ему, что он должен быть благодарен смерти, доставившей ему столько счастья, и как честный должник расплатится с нею в свое время!

Читатель назовет это суеверием, предрассудком, но разве не от любви проистекают все предрассудки, суеверие и мечты?

Войдя к Нишетте, Эдмон бросился на шею модистке.

— Добрая Нишетта! — воскликнул он. — Елена любит меня, выйдет за меня замуж. Вот ее кольцо: все это обделал Густав. Дайте мне скорее бумаги, бумаги! Я еще должен писать ей.

Нишетта недоверчиво взглянула на Густава; Эдмон выразил глазами, что все это правда и Эдмон вовсе не помешанный.

Видя Эдмона в таком благоприятном расположении духа, Нишетта была вне себя от

радости, и перья и бумага были тотчас же принесены ею.

— Нишетта, — сказал Эдмон, садясь, — вы мне можете оказать важную услугу?

— С удовольствием, скажите только, какую.

— Вы снесете Елене письмо; я здесь подожду ответа.

— Так я пойду одеваться, — сказала Нишетта и, приводя свои слова в исполнение, скрылась в соседней комнате.

Густав за нею последовал. Эдмон принялся писать.

*«Не знаю, как начать письмо, как обратиться к вам, как называть вас после слышанного мною. Должен ли я писать вам под условною светскою формой или могу, не стесняясь, высказать вам всю свою душу. Я все еще в себя не могу прийти от радости. Вы приняли во мне участие, согласились связать вашу судьбу с моею, вашу молодость, красоту, счастье...»*

*Да ведь вы всего два раза меня видели, я ни разу еще не говорил с вами, да ведь вам предстояли блестящие партии — и вы, увлеченные состраданием к человеку, осужденному вашим отцом, готовы любить меня, быть моею. Благодарю вас, Елена, благодарю.*

*Я думал обо всем, что вам говорил сегодня Густав, я мечтал даже о блаженстве, которое вы согласились дать мне, но надеяться я не смел и никогда бы не решился склонять вас на эту жертву. А вы — с первых же его слов согласились быть мне женою, согласились связать вашу долгую будущность с небольшим числом Остающихся мне годов. Вы вырвали у отчаяния душу, не смеющую на вас надеяться, ваша ни с чем несравненная доброта сделала для меня то, что только любовь ваша могла бы сделать для другого впоследствии. Сколько величия души, сколько самоотвержения в этом, Елена! И как наградит вас за это Бог!*

*Мне немного остается жить, но каждую минуту своего времени я употреблю на выражение признательности. Будут, может быть, женщины счастливее вас, но ни одна не будет, как вы, любима. Я вам буду рабом, покорным и преданным. Ведь это Бог свел нас на пути жизни, ведь все, что произошло в эти дни, было Его определением; иначе чем объяснить так много дарованного мне счастья в такое короткое время?*

*У вас нет матери, вам ее заменит моя мать. Вы увидите, как она добра! Как она будет гордиться вами! Будет любить вас, почти так же, как я!*

*Ваш отец будет и мне отцом; мы будем ходить за ним, лелеять его старость, окружим его привязанностью, попечениями, доставим ему все, что он любит, к чему он привык. С моей стороны, это даже будет эгоизмом, потому что он мне нужен, чтобы продолжить мою жизнь, чтобы продлить наслаждение видеть вас.*

*Знали бы вы, как я вас люблю, Елена! Дайте мне в этом письме высказаться, выразить, сколько радости и восторга в душе моей. Обыкновенно любимой женщине высказывают все возбужденные ею чувства по прошествии долгого времени; роковая случайность позволила мне через четыре дня после нашей первой встречи говорить с вами откровенно. Слушайте же, Елена, что я скажу.*

*Сегодня утром, узнав о своей болезни, я проклинал жизнь; теперь, уверенный*

*в вашей любви, зная, что я болен смертельно, зная, что мой конец близок, я счастлив так, как немногие на земле. И я полюбил жизнь — я ее не проклинаю. Ваше одно слово рассеяло мое отчаяние. Я сознаю, что в моей душе вечность. Нет в природе голоса, который бы я не слышал и не разумел. Я в небесах вижу счастье. Я смеюсь и плачу, готов блуждать в лесу, в поле и, окликая деревья, цветы, облака, звезды, повторять от избытка счастья: «Звезды, цветы, облака! Меня Елена любит!»*

*И как подумаю, что другие произносят ваше имя, не зная, сколько любви в нем заключено, сколько невинности, преданности, молодости и счастья!.. Как хороша жизнь! Как милосерден Бог! Есть ли что в мире чище и святее двух молодых любящих сердец: все их прошедшее сосредоточено в мыслях одного о другом, все будущее — в надежде быть постоянно вместе!.. Это наши два сердца, Елена, наши с тех пор, как вы согласились принадлежать мне.*

*Пишу вам и не знаю, когда кончу писать. Слова и мысли толпятся, не успеваю записывать, и все-таки не могу выразить вам всего, что чувствую.*

*Вы — первая женщина, которую я люблю, и если бы вы знали, как вы прекрасны!..*

*Тайный голос говорил мне, когда я в первый раз вас увидел, что моя жизнь будет от вас зависеть; не почувствовали ли и вы, хотя смутно, что в нас есть что-то родственное?.. Нарочно ли вы уронили тогда перчатку? Знали ли вы, как билось мое сердце, когда я вам ее подал? Вы тогда покраснели — я видел... Можно ли после всего этого отвергать тайные симпатии?..*

*Что вам еще сказать, Елена? Сердце мое так полно, так полно...*

*Теперь что мне делать, скажите? Позволяете ли мне видеть вас, видеть и в то же время думать: «Этот ангел любит меня». Идти ли мне прямо к вашему батюшке, или, лучше, чтобы моя мать сделала ему предложение? Только умоляю вас: не медлите...*

*Мне иногда кажется, что Густав обманул меня. В эти минуты я боюсь обратиться к действительности, боюсь услышать страшные слова: «Ты был ослеплен, Елена не любит тебя, даже не думает о тебе!» Если это правда, зачем же я осужден на такую долгую жизнь!..»*

— Готово? — сказала Нишетта, входя. — Вы еще пишете?

— Мне так много нужно сказать ей... — отвечал Эдмон.

— Ну... и вы, стало быть, не можете кончить?

— Кончу, Нишетта, кончу... Я уж и окончил, если хотите.

— На словах ничего не говорить г-же Дево?

— Ничего, только отдайте письмо.

Сказав это, Эдмон сложил письмо и запечатал.

— Вы будете здесь? — спросила Нишетта.

— Да, подожду здесь с Густавом.

Нишетта взяла письмо и вышла.

Она застала Елену под влиянием еще свежих утренних впечатлений от недавнего разговора с Густавом.

Напрасно пыталась заговорить с нею Анжелика, Елена не отвечала ничего, и почтенная

гувернантка принуждена была поневоле задремать над «Кенильвортским замком».

«Кажется, я сделала то, что должна была сделать, — думала молодая девушка. — Чувствую, что я скоро полюблю Эдмона, может быть, даже и теперь люблю; но что скажет отец?»

Модистка вошла вместе с появлением последней мысли в уме Елены.

Шум ее шагов немедленно разбудил гувернантку.

— Вы от г-на де Пере? — было первым словом Елены.

— Да, от него, — отвечала Нишетта.

— Кто это такой г-н де Пере? — спросила Анжелика, протирая глаза.

— Мой муж! — отвечала Елена.

— Ваш муж! — вскрикнула гувернантка, глядя во все глаза на свою питомицу. — Господи Боже мой! Никак вы с ума сошли!

— Нисколько, моя добрая Анжелика, — отвечала Елена, час тому назад понявшая, что уж она не ребенок и что не следует ей скрывать свои чувства, так как в них ничего нет дурного. — Что же он вам поручил сказать мне? — продолжала она, обращаясь к Нишетте.

— Просил передать вам это письмо, — отвечала гризетка и, видя, что никаких особых предосторожностей не требуется, спокойно передала письмо Елене.

— Скажете ли вы мне, что все это значит? — говорила Анжелика, закрыв книгу.

— Это значит, — отвечала, распечатав письмо, Елена, — что г-н де Пере меня любит и что я его люблю и выхожу за него замуж.

— Но ваш отец... ваш отец позволил вам с ним переписываться?

— Отец еще ничего не знает.

— Мой прямой долг все это ему сообщить.

— Бесполезно; сейчас я ему все сама расскажу.

Елена принялась читать, и Нишетта заметила, как задрожали ее руки, а лицо покрылось ярким румянцем, и почти слышала сильное биение ее сердца.

— Как он любит меня! — вырвалось у Елены во время чтения.

— Я-то здесь зачем, скажите на милость? — рассуждала Анжелика. — Все устраивают без меня, и я ни на что не смотрю!

— Скажите, чтоб г-жа де Пере потрудились завтра приехать к отцу. Я его предуведомлю. Вы всему этому виною, — прибавила Елена, не сомневавшаяся, что Нишетта была действующим лицом в этой драме.

— Должна ли я сожалеть об этом? — спросила гризетка.

— Нет, — отвечала Елена, — потому что я никогда не забуду, что вы принесли мне письмо это. Передайте г-же де Пере слова мои и прибавьте, что, простившись с вами, я пошла прямо в кабинет к отцу.

С этими словами Елена положила под корсаж письмо Эдмона и отправилась к доктору.

— Отец, добрый отец! — сказала она, усевшись у него на коленях. — Мне нужно поговорить с тобою о важном деле.

— Ты меня пугаешь, — отвечал доктор, смеясь. — В твои лета важное дело? Что ж это за дело такое?

— Отец, — отвечала Елена серьезно, — я люблю.

— Ты любишь? — протянул несколько озадаченный доктор.

— Да, я люблю, и он меня любит; я пришла предупредить вас: завтра приедет его мать с предложением.

Доктор с возрастающим изумлением посмотрел на дочь.

— И ты сама все это устроила? Одна?

— Да.

— Что ж это за молодой человек? Полагаю — ты любишь молодого. Как его зовут? Если он достоин быть мужем моей дочери, почему же нет? Но он должен быть достоин тебя, дитя мое, я не отдам наобум своей дочери, за которую каждый день благодарю Бога.

— Это Эдмон де Пере, отец.

— Эдмон де Пере? — заметил Дево, уже забывший своего нового пациента.

— Как вы забывчивы, — сказала Елена, указывая рукой на лежавшую на столе карточку Эдмона.

— Это тот молодой человек, что приходил ко мне лечиться... дня два тому назад? — спросил Дево, указав на карточку.

— Тот самый, отец.

— И он... он тебя любит?

— Любит.

— Давно любит?

— С тех пор, как увидел меня.

— Давно это было?

— Четыре дня.

— И ты тоже любишь его, разумеется?

— Так же, как и он.

— С того же самого времени?

— Да, отец.

— Ты, мой друг, помешалась.

— Я в полном рассудке, отец, клянусь вам.

— Да ведь знаешь же ты, что нельзя тебе быть женою де Пере?

— Почему же нельзя?

— Потому, что де Пере через три года умрет, потому, что я это знаю и не могу согласиться отдать дочь свою за человека, который через три года оставит ее вдовою, с детьми, пораженными одною с ним болезнью. Согласись, что это вздорная, ребяческая выдумка, и нечего говорить об этом.

— Ничего не может быть серьезнее, отец, — отвечала Елена, — именно то, на основании чего вы ему отказываете, заставляет меня любить его.

— Я не понимаю тебя.

— А это так просто, отец. Де Пере меня любит. Так же, как и вы, я знаю, что ему остается жить только три года, и хочу быть его женою для того, чтоб эти три года он был счастлив.

— И ты думаешь, соглашусь я когда-нибудь на эту жертву?

— Нужно согласиться, отец.

Не только никогда Елена не говорила так с отцом своим, но он даже не подозревал, что она способна говорить с такою силой и твердостью.

— Нужно, — повторил он, — а почему нужно?

— Потому что вот уже час, как я обручена с ним. Видите, отец, — продолжала молодая девушка, показывая доктору руку, — я отдала ему кольцо матери с клятвою, что не буду принадлежать никому другому. Времени нельзя терять, отец, когда дело идет о браке с



человеком, которому всего остается жить три года!..

— И ты в эти-то три дня все это устроила?

— Всего в пять минут, отец.

— И хоть минуту думала, что я соглашусь на этот брак?

— Знала, что вы думаете противиться, и потому именно отдала это кольцо и дала клятву.

— Пока я жив, ты не будешь женой де Пере!

— Я клялась могилою матери, — отвечала Елена.

— Нарушение клятвы ничего не значит при сумасшествии, а ты помешана. Могу ли я допустить, чтобы ты из-за сентиментальности погубила себя несчастным браком? Твое счастье прежде всего. Я умнее тебя, дитя мое, я лучше вижу, чем ты, поверь мне: откажись от этого человека, не рискуй своей будущностью; помни, что я должен дать за нее ответ Богу. Бог мне дал видеть более, чем другим людям; тяжелая наука должна послужить мне к отвращению горя от моего ребенка. Не говори же мне больше об этом. Я бы сейчас же отдал тебя в монастырь, если бы не был уверен, что через неделю ты не бросишь все эти выдумки.

— Отец, это ваше последнее слово?

— Последнее.

— Сколько бы я вам ни говорила, что мое счастье, счастье г-жи де Пере, счастье ее сына и сама жизнь его зависят от этого брака, вы будете ему противиться?

— Буду противиться, сначала убеждениями, потом, если убеждения не помогут, — прибавил он голосом более строгим, — всеми средствами, какие дадут мне права отца.

— И вы скажете бедной матери: «Я не соглашусь на брак моей дочери с вашим сыном, потому что он болен смертельно?»

— Не скажу, но скорее готов сказать это, чем согласиться на этот брак, потому что согласие считаю преступлением. Если бы ты была матерью и была бы на моем месте, ты бы сделала то же.

— И решение ваше неизменно?

— Да, неизменно.

— Прощайте, отец.

Сказав это, Елена обняла доктора.

— Ты порассудишь, дитя мое? Не правда ли?.. — сказал Дево.

— Да, отец, и к чему бы ни привели меня размышления, я скажу вам.

Заглянув в комнату, где дремала Анжелика, Елена поспешно надела шляпку, накинула шаль, в которой первый раз встретила Эдмона, и, убедившись, что никто не слышит и не видит ее, отворила дверь прихожей и спустилась по лестнице.

— На улицу Трех Братьев, № 3, — сказала она кучеру, сев в первую попавшуюся наемную карету.

— Г-жа де Пере дома? — спросила Елена лакея, отворившего ей дверь.

— Дома, — отвечал лакей.

— Никого у нее нет?

— Никого.

— Доложите: Елена Дево.

Лакей, пропустив Елену в залу, отворил дверь в будуар, где сидела г-жа де Пере.

Едва произнес он имя Елены, как г-жа де Пере встала и, выйдя ей навстречу, сказала:

— Вы дочь доктора Дево?

— Да, — отвечала Елена.

— И вы здесь одна?

— Одна.

— Что же случилось, дитя мое? — спросила мать Эдмона. — И почему вы...

— Я приехала, — отвечала Елена, обнимая г-жу де Пере, — откровенно спросить вас, согласны ли вы быть мне матерью?

— Согласна ли!.. Согласна, дитя мое; я буду счастлива и горда вами.

Говоря эти слова, г-жа де Пере увлекла Елену в будуар, сняла с нее шаль и шляпку, посадила ее и, сев возле нее сама, сказала:

— Расскажите, дитя, что вас привело сюда, как вы решились?

И г-жа де Пере с участием смотрела на девушку, так очаровавшую ее сына.

— Г-на де Пере нет здесь? — спросила Елена.

— Нет, он сейчас придет.

— Видели ли вы его поутру сегодня?

— Видела.

— Он ничего вам не говорил обо мне?

— Ничего, кроме того, что вас любит. А вы его любите? Любите хоть немножко?

— Была ли бы я здесь, если бы его не любила? Просила ли бы вас быть мне матерью, если бы не решилась быть его женою? Да, я люблю его, и, так как от меня зависит его счастье, я хочу, чтобы он был счастлив.

— Бог да благословит вас! Что же я могу сделать для вас? Вы любите моего сына, и для вас я готова решиться на все.

— Он вам говорил обо мне?

— Он только и говорит, что о вас, и я вас воображала хорошенькой, но никогда не думала, что вы так прекрасны. Но объясните мне, дитя мое, как это... вы здесь одна? Отчего нет с вами ни отца, ни гувернантки?

— Очень просто, я отдала свою руку вашему сыну.

— Как! Когда?

— Нынче утром.

— Вы его видели?

— Нет, я говорила с его другом.

— С Густавом?

— Да, с Густавом, он мне сказал, что Эдмон... что г-н де Пере, — поправила, покраснев, Елена, — может быть счастлив только сделавшись моим мужем, и я дала клятву

принадлежать ему, послала ему кольцо своей матери, такой же, как вы, святой женщины.

— Я ничего этого не знала.

— Зачем же нам медлить, зачем изобретать препятствия своим чувствам? Сын ваш меня любит, я его люблю, и мы друг друга знаем. Зачем же нам отдалять свое счастье? Есть пословица: «Лучше поздно, чем никогда»; я нахожу, что лучше раньше, чем позже.

— Милое дитя! — сказала г-жа де Пере, тронутая этой наивной, доверчивой откровенностью.

— Я просила передать г-ну Пере, что вы можете сделать завтра моему отцу предложение, и сама пошла в его кабинет предупредить его.

— И что же сказал вам г-н Дево?

— Он сказал мне, что я помешанная, что нельзя любить человека, которого знают только четыре дня, с которым даже ни разу не говорили, и решительно отказал мне в моей просьбе, прибавив, что, если я буду упорствовать, он отдаст меня в монастырь.

— Что же вы?..

— Так как я дала клятву с тем, чтобы сдержать ее, — торжественно произнесла Елена, и глаза ее гордо заблестали, — и так как ничто в мире не может мне воспрепятствовать следовать влечению сердца, я надела шляпку, осторожно вышла из дому, села в карету и приехала сказать вам, что повторяю еще раз: согласны ли вы быть мне матерью?

Елена еще раз обняла г-жу де Пере.

— Стало быть, ваш отец не знает, что вы здесь? — сказала последняя.

— Если вы позволите мне здесь остаться, я его уведомя.

— Он приедет за вами сам и увезет вас отсюда.

— Никогда!

— Вы так думаете?

— Я уверена. Я знаю отца: покричит немного, но всегда сделает по-моему.

— Но ваш поступок так важен...

— Почему важен?..

— Уехать от своего отца!..

— Чтобы приехать к вам! Что же в этом дурного? Разве у вас я не все равно что у матери?

— Что за ангел будет жена у моего сына!

— И как мы будем счастливы вместе!

Елена и г-жа де Пере уже любили друг друга, будто десять лет были знакомы.

— Теперь я напишу отцу, — сказал Елена.

— Дитя мое, — возразила г-жа де Пере, взяв за обе руки Елену и привлекая ее к себе, — ваш отец непременно рассердится, получив вашу записку. Дело это так важно, что простой запиской нельзя ограничиться.

— Что же в таком случае делать?

— Если вы последуете моему совету, я берусь все устроить.

— Ради Бога, говорите.

— Мы поедем вместе к г-ну Дево: я ему расскажу, с какою целью вы ко мне приехали, и буду просить вашей руки для Эдмона. Он увидит тогда, что с вашей стороны это не было ребячеством. Потом я объясню наше положение в обществе — это ни в каком случае не лишнее — и все устроится.

— Едемте, — отвечала, надевая шляпку, Елена.

Только что г-жа де Пере и молодая девушка приготовились ехать, вошедший в будуар слуга громко произнес:

— Господин Дево!

Доктор вошел; он был бледен и находился, очевидно, под гнетом тяжелых ощущений; но при взгляде на дочь лицо его просветлело.

— Измучила ты меня, Елена!.. — были его первые слова.

В самом деле, он едва стоял на ногах и, чтобы не упасть, должен был прислониться к столу. Он тяжело дышал, и пот градом катился по лицу его. Елена стремительно бросилась обнимать его.

— Ты уж думал, что я умерла, отец, — сказала она, улыбаясь.

— Ну как сладить с таким характером, как у тебя? — говорил старик. — Не найди я тебя здесь, не знал бы уже, где и искать. Извините мою невежливость, — прибавил он, обратясь к г-же де Пере, — я был так взволнован, что забыл все приличия и даже не поклонился вам; но вы сами мать и поймете, что мы чувствуем, когда вдруг у нас пропадает ребенок.

— Садитесь, доктор, — сказала г-жа де Пере. — Мы собирались сейчас ехать к вам, но так как вы угадали, что дочь ваша здесь, и приехали сами, мы можем переговорить и здесь.

— Так ты сразу догадался, отец, что я у г-жи де Пере? — спросила Елена, принимая от отца шляпу и палку.

— Только это и мог я полагать, — отвечал доктор, отирая фуляром лицо.

— Бедный отец, тебе жарко! — сказала Елена. — Видишь, как нехорошо заставляешь других нарушать клятвы.

И, усевшись у ног его, она тихо прибавила:

— Ни слова о болезни де Пере, отец, если не желаешь зла своей дочери!

— Доктор, — начала мать Эдмона, — вы мне отказываете в счастье назвать дочерью это прелестное дитя?

— Воображаю, как засуетилась Анжелика, не найдя меня в доме! — перебила Елена, не желая, чтоб г-жа де Пере могла даже подозревать настоящую причину отказа доктора, и для того давая веселое направление разговору.

— Она три раза падала в обморок, и я оставил ее всю в слезах. Как в бреду говорила она о каком-то чепце с пунцовыми лентами, о розовом платье, о модистке — я понять ничего не мог и поехал сюда сам.

— Я тебе все это объясню.

— Итак, ты решительно любишь этого молодого человека? — спросил доктор, посадив дочь к себе на колени.

В поцелуях, которыми он стал осыпать Елену, уже выразалось радостное спокойствие духа, сменившее недавнее волнение.

— Как же не люблю, отец, — отвечала она, — когда для него я решилась огорчить тебя, а я никогда тебя не огорчала и не огорчу никогда, если ты согласишься. Вольно тебе было не верить, когда я сказала, что твердо решилась, — тогда этого бы ничего и не было.

— Доктор, — стала в свою очередь просить г-жа де Пере, — доктор, полноте упорствовать. Эти дети любят друг друга, пусть они будут счастливы. У вас будет добрый сын, у меня прелестная дочь. Послушайтесь меня, доктор.

Бедный доктор так был рад, что нашел свою дочь, и вместе с тем так боялся, что, пожалуй, при своей крайней экзальтации она или сойдет с ума или лишит себя жизни, что

противиться более был решительно не в состоянии.

— Ну! — сказал он. — Елена этого хочет, она дала клятву, она обратилась к вашему покровительству — пусть будет, как она хочет.

— Ну не правду ли я говорила, — заметила Елена, — что мой отец прекраснейший человек в мире!

Г-жа де Пере вместо ответа взяла руку доктора и молча поднесла ее к губам своим.

На ее глазах навернулись слезы.

— Вам я одолжена спокойствием моего сына, — сказала она, — и я никогда этого не забуду.

Вошедший в это время Эдмон остановился, пораженный представившимся ему зрелищем.

— Обойми твоего тестя, — сказала ему г-жа де Пере, — все устроилось.

Эдмон бросился в объятия доктора и потом подошел к Елене.

— В первый раз мне приходится говорить с вами, — сказал он, — и уже я имею право сказать вам, что люблю вас.

— Разве вы мне этого не писали? — возразила Елена, протягивая ему руку и показывая его письмо.

— Доктор, — сказала г-жа де Пере так тихо, что никто, кроме Дево, не мог расслышать ее, — я счастлива вдвойне вашим согласием. Вообразите, я до сих пор боялась, что к Эдмону перешла чахотка, болезнь отца его. Но если вы, доктор, отдаете ему свою дочь, стало быть, нечего бояться. Какой счастливый день для меня сегодня!

— Бояться, точно, нечего, — отвечал Дево и в то же время подумал: «Теперь нужно спасти его. В его жизни — наше общее счастье. Мне предстоит упорная борьба с болезнью — помоги Господи!»

Свадьбу справили, не теряя времени, в церкви св. Фомы.

Народу толпилось множество. Г-жа де Пере давно уже не смотрела на жизнь так доверчиво. После согласия доктора бедная мать вообразила, что уже бояться за сына нечего.

Соседние сплетницы сообщали одна другой свои замечания.

— Невеста-то как хороша! — говорила одна. И точно, Елена, любящая, взволнованная, гордая сознанием своего самопожертвования, мечтающая о счастливом будущем и уже забывшая роковое предвещание, была дивно хороша в эту минуту.

Она не покидала руки Эдмона, который все время с любовью ей улыбался.

— Как молодая бледна! — говорила другая. — Ну, это от волнения.

— От волнения не такая бывает бледность, — отвечала третья, толстая и, должно быть, опытная женщина. — Когда я выходила замуж, я была тоже взволнована, а не была так бледна. А скажите лучше, что женишок-то ее болен — вот что! — Бедный молодой человек!

— Как жаль, право! Они ведь такая парочка!

Нишетта все это слышала, потому что, разумеется, она присутствовала при церемонии, — и сердце гризетки сжималось от этих слов. «Как я должна благодарить Бога, — думала она, — что нельзя сказать этого про Густава!..»

И она молилась за де Пере, потому что за Домона ей незачем было молиться.

По окончании церемонии молодые поехали к г-же де Пере, и весь день прошел в поздравлениях и изъявлении разнообразных желаний небольшого числа приглашенных друзей.

Нишетты не было между этими друзьями, хотя г-жа де Пере вспомнила о ней первой. Мать Эдмона узнала все, что для ее сына сделала модистка, и сочла бы себя неблагодарной, если бы не пригласила ее на праздник, который вряд ли бы без нее состоялся. Но мало того, что у Нишетты было доброе сердце, ее взгляд на вещи был удивительно прост и верен, и она отказалась от приглашения.

Густав, понявший, сколько деликатности было в этом отказе, обещался остаток вечера провести с Нишеттой.

Квартира новобрачных была нанята в верхнем этаже дома, в котором жила г-жа де Пере; вечером Елена и Эдмон отправились в свои покои, а счастливая мать, отходя ко сну, еще раз вверила Богу будущность своего сына.

Общим желанием было — провести лето в деревне, но доктор, для которого лечение зятя сделалось главнейшею обязанностью, сказал дочери:

— Скажи, что ты предпочитаешь остаться в Париже: Эдмон будет у меня на глазах, и я прослежу его положение. Осенью тебе, пожалуй, должна будет прийти фантазия — ехать в Италию.

— Отец, — спрашивала Елена, — если можно спасти Эдмона, когда мы это узнаем?

— Если я не ошибся и план мой удастся мне, — отвечал Дево, — через год Эдмон будет вне опасности.

Решено было остаться в Париже. Доктор с помощью дочери и Густава принялся за дело. Лечение Эдмона сделалось главной задачей всех его окружающих, кроме матери, которая, предавшись безграничному упованию на Бога, смеялась над своими прежними опасениями и каждый вечер засыпала, убаюкиваемая не предвещавшею ничего дурного

действительностью.

Эдмон видел, как за ним ухаживали, и понимал свое положение. Он себя не обманывал и, определив, что ему приходится жить два или три года, далее не заглядывал. Единственным его старанием было скрыть свое положение от матери и заставить жену, сколько возможно, забыть его.

Знавали ли вы когда-нибудь чахоточных, которым известно их положение? Заметили ли вы, что для них жизнь имеет особую привлекательность? Их глазам, кажется, дано особое, близкое к смерти и напоминающее о вечности ясновидение: на всех существах и предметах они замечают какой-то поэтический, неуловимый для других оттенков. Они видят более душою, чем телом. Все их ощущения электрически быстрые. Они так впечатлительны, что проникаются сразу явлениями, которые принимаются другими тяжело и нескоро. Кажется, душе чахоточного тесно в его груди, и она постоянно стремится стать выше и, будто с высоты рассматривает и различает то, что от других ускользает. Она сильнее тела и потому преобладает над ним: этим объясняется легкая смерть чахоточных. Между интеллектом и физическим составом связь самая непрочная, и в смертный час душа отделяется от тела без боли, без усилий, будто сбрасывает с себя тяжелую оболочку.

Мы уже заметили, что, имея мало времени для жизни, они обладают способностью жить скорее. Из всех болезней, сопровождающих существование человека и разрушающих его с каждым его шагом, чахотка, бесспорно, недуг самый тихий, самый симпатичный и поэтический, потому что она одна оказывает непосредственное влияние на душу. Другие болезни не что иное, как недуги телесные, чахотка же, сверх того, свидетельствует о бессмертии души и создает поэтов.

Пораженные этим недугом, подобно Мильвуа, чувствуют неодолимую потребность сблизиться с природой — этим вечным источником жизни. В тени деревьев, в пении птиц, в солнечном луче они видят более, чем другие. Они чувствуют Бога там, где мы видим простое явление природы. Самым лицам их сообщается меланхолический оттенок их поэтического настроения. Они страдают возбуждаемым ими участием. Они снисходительны и умеют прощать, потому что близки к Вечному Милосердию. Если природа вложила в них дар художественно воспроизводить впечатления жизни, талант принимает у них размеры гения, распространяет свет, бледный и прозрачный, как благоухание скрытого, неосязаемого цветка. Вслушайтесь в звуки Беллини, вчитайтесь в элегии Мольера, и вы проникнетесь этою грустною, болезненною мелодиею — выражением всей их жизни.

Сознавая близкий предел в будущем, они страстно привязаны к прошедшему. Они помнят самые неуловимые впечатления детства, не могут забыть ничего, потому что живут памятью сердца. Столько очевидной, неоспоримой и всеми признанной поэзии в этих страдальческих существованиях, что при известии о смерти чахоточного никому не представится идея смерти мрачной и разрушительной. Когда говорят: такой-то умер от чахотки, нам представляется его образ, бледный, холодный, но от него не веет могилою — мы видим спящего человека. Воображение наше не смущается безобразием смерти: мы помним черты живого — это великое преимущество юности, даже в смерти живущей! Древние питали глубокое уважение к умершим в молодых летах, считали их любимцами богов, как брачное ложе, покрывали их могилы цветами и с умилением вспоминали о них. Эти юные призраки проходили перед ними, не смущая их воспоминаний, как легкие облака, не омрачая лазури неба, не смущают ликующий день. Мы наследовали от древних это уважение и, вспоминая дорогие нам имена умерших, прежде всего останавливаемся на

умерших в юности. Наши слезы о них так же, как и они, молоды, и согнувшийся под бременем сорока годов человек, оплакивая двадцатилетнего друга, вспоминает, сколько доброго и святого унесла у него жизнь, и говорит со вздохом: «Блаженны умершие в колыбели юношеских верований!»

Наконец — и это лучше всего, выпавшего на их долю, — чахоточные умеют любить.

На кого бы ни обратилась их привязанность, они любят так, как другие не умеют любить. В женщине они видят то, что в ней ищет поэт, что в нее вложил Бог. Их любовь — постоянное созерцание и признательность — умрет с ними, но никогда не состарится. Для любви природа дала им энергию необычайную, энергию, зачастую ускоряющую их смерть. Огонь слишком силен для сосуда, и сосуд не выдерживает. Они тонут в источнике, черпая из него наслаждение.

Но пока смерть вечным холодом не обдаст их сердце, они не могут наглядеться, не могут насладиться любимой женщиной. Они любят так, как женщина может только желать быть любимой. Об их любви сохраняется вечное, святое воспоминание, потому что ей не было времени охладиться; они не достигают той поры, когда человек смотрит равнодушно на женщину, которую некогда боготворил. Они оставляют мир, веруя, что любили бы всегда так же сильно, засыпают, убаюканные мечтой, вполонину осуществившейся. И отходят они на вечный мир, как светлый весенний день, среди песен, цветов и звуков: ни один лист не упал с их дерева, ни один цветок не сжался и не утратил своего благоухания под суровым дуновением осени.

Так и Эдмон любил Елену.

Первые дни молодой счастливой четы — полное забвение мира, полное самозабвение, любовь безраздельная и безграничная!..

Вспомним, какие надежды поселились в сердце Эдмона, когда он в церкви увидел Елену. «Этот ангел когда-нибудь может принадлежать мне», — думал он. Это когда-нибудь наступило: Елена была его.

Тогда он не знал определения судьбы, теперь оно ему было известно, и каждая минута, не посвященная любви, казалась ему посягательством на его счастье.

«Она вся принадлежит мне, — думал он, — а я — я принадлежу ей до известного срока». И он полюбил Елену всею мыслью, всем сердцем, всем существом своим. Каждая частица его принадлежала ей, и один вид ее приводил его в восторженный трепет. При ее приближении глаза его приковывались к ней и уже от нее не отходили, сердце рвалось ей навстречу, само дыхание сдерживалось — и светлые, высокие порывы вставали в нем, и слышал он отзвук их чистой мелодии, веселой и игривой, как щебетание ласточки. Все в его жене приводило его в восторг: в его душе выражалось ее отражение. Он сам убрал ее комнату, покойную и уютную, как гнездо, и, если бы мог, заключил в нее всю природу. Стены и потолок исчезали под шелковыми тканями, нога тонула в коврах, как полевая трава, мягких и волнистых. Кажется, птица могла бы летать в этой благоуханной клетке, так же легко и привольно, как по ясной лазури неба. Деревя во всей комнате не было видно: мягкая мебель будто росла среди зелени редких растений, сообщавших целому что-то фантастическое, превышавшее само искусство.

— Ты не хотела ехать в деревню, — говорил Эдмон жене своей, — и вот деревня сама к тебе приехала и даже зиму пробудет с тобою.

По целым часам просиживали влюбленные в этом таинственном приюте любви, в который спущенные жалюзи пропускали нерешительный полусвет, напоминавший первые



осенние сумерки. Эдмон не хотел, чтоб чужая рука касалась даже платья Елены.

— Пока я жив, — говорил он, — никто, даже горничная, тебя не коснется. Это не ревность, а эгоизм. Мне кажется, от каждого прикосновения грубой руки улетучится одна из тонких частиц благоуханной твоей красоты.

Выезжая с нею, он сам выносил ее до кареты, чтобы ее нога не касалась земли, закрывал ее, закутывал, чтобы посторонние взоры не могли видеть ее красоту, которою один он считал себя вправе наслаждаться, в карете он ее усаживал, как ребенка.

«В поле!» — отвечали они на вопрос кучера, куда ехать.

Эта прогулка устраивалась обыкновенно по вечерам, и до двух часов ночи они там оставались в страстном самозабвении.

«Спой что-нибудь», — говорил ей иногда Эдмон, и окончание ее песни сопровождалось всегда нескончаемым поцелуем.

Воротившись домой, Эдмон сам переодевал Елену. Однажды вечером во время сна, он вышел незаметно из дома, пошел к цветочнице, купил все розы, сколько их было в ее магазине, и, возвратившись домой, убрал ими постель Елены.

Она проснулась вся в цветах.

Он не знал, что придумать, чем выразить, определить ей всю силу любви своей.

Он устроил ей жизнь султанши в гареме и как двадцать рабынь служил ей. Во время ее сна он по целым часам смотрел на нее и думал:

«Это все мое! Вся моя красота, все счастье!.. Эти белые, упругие груди, тихо поднимающиеся, как листва, колеблемая предрассветным зephyром, эти плечи, белые и округленные, как у Венеры Милосской, эти глаза, сомкнутые дремотой, которые, едва открывшись, будут уже искать меня, эти губы полураскрытые, как прозрачная сокровищница, в которой едва виднеются заключенные в ней дивные перлы, эти кудри, распущенные, как черные волны, — мои, это все мое! Кроме меня, никто не говорил этой неотразимо прекрасной женщине то, что позволено говорить мне. Сердце ее знает только одно мужское имя — мое! Она мною живет, и я живу ею, ею одною. Может ли быть блаженство выше, счастье полнее, очарование действительнее!..»

Иногда Эдмон, всегда увлекавшийся своими мыслями, прибавлял:

«Только вспомню, что настанет день и я должен буду проститься с этим счастьем!.. Что тогда с нею будет? Останется ли она верна моей памяти, или потребность любви, которую я с такой безрассудною жадностью развиваю в ней, заставит ее забыть меня... для другого?.. Страшная мысль! Другой будет обладать ею, так же как теперь обладаю я... другой... Она ему будет шептать те же слова... как я теперь, он тогда будет наслаждаться всем блеском ее красоты... Пробуждаясь, глаза Елены будут искать другое лицо — не мое... руки ее будут сжимать не мою руку, а я, бледный и недвижимый, буду гнить в сырой земле, забытый... ею, забытый! Имя мое только долг ей напомнит; придет, когда нечего делать, бросит цветок на мою опустелую могилу... Это невозможно, и притом это так вероятно! Сердце наше так устроено: старается забыть то, воспоминание о чем может разбудить горе. И это по прошествии трех, может быть, даже двух лет!.. Как две минуты, промелькнут эти два года!

Зачем, сделав это страшное открытие, не бежал я от нее, зажмурив глаза? Зачем стремился к блаженству, которого до конца не могу исчерпать? Зачем осудил себя умирать с бессильными слезами и проклятием? Где найти человека, который дал бы мне жизнь, дал бы мне свою молодую, здоровую кровь?.. Столько людей тяготят землю напрасно!..»

Увлеченный тяжелыми думами, Эдмон ударял себя в грудь; Елена просыпалась...

— Повтори, что ты меня любишь, скажи мне, — говорил он.

Молодая женщина прижимала его к своей груди, ласкала его, и сила любви укрощала волнения, вызванные любовью.

Елена была беспредельно счастлива. Выйдя замуж, она почувствовала себя в новой сфере, и как ей было там легко и привольно! Страстная любовь мужа открыла ей новую жизнь и в ее душе вызвала юные, нетронутые силы.

Нравственно она была в положении человека, в первый раз посетившего восточные бани: ему так легко в этой возвышенной температуре, проникнутой благовонными куреньями, и так отрадno нежат его слух тихие, издали несущиеся мелодические звуки. Будто легкое облако несло Елену навстречу всем упоениям жизни.

Кругом нее все улыбалось, сияло, цвело. Как белая лебедь, плыла она между двумя лазурями; на возникавшие иногда в ее душе опасения отец отвечал ей обыкновенно:

«Надейся, все идет хорошо».

Да и самые опасения тревожили ее редко: ее жизнь пролетала под обольстительной дымкой, которая, как росистые туманы, спускающиеся утром над долиной и закрывающие горизонт самый близкий, скрывала ее будущность.

Может ли человек когда-нибудь сказать сам себе:

«Мне так мало остается жить, проживу определенное мне время по возможности счастливо, и когда посетит меня смерть, она найдет жертву, покорную, отходящую с улыбкой?»»

Нет, думать, что можно так легко покориться необходимости — не в силах человека. Он не согласится никогда ограничить свои надежды.

Мы уже видели, что Эдмон, помышляя о будущем, которому был обязан своим счастьем в настоящем, о будущем, которое с каждым днем переходило в прошедшее, ударял себя в грудь и рвал на себе волосы. Двадцать раз он готов был сказать Дево со слезами: «Спасите меня», но его постоянно удерживала боязнь, что доктор ответит ему: «Это уже невозможно». Узнав роковую истину, Эдмон начал наблюдать за собою, стал замечать все симптомы, казавшиеся ему прежде ничтожными, а теперь получившие в его глазах гибельное значение. Бессонница, частые испарины, постоянная жажда, раздражительность, отделение крови в мокроте, постоянное нерасположение и слабость — все эти явления имели определенный, роковой смысл, и каждое из них отнимало у него частицу жизни. То, что он прежде скрывал от матери как не предвещавшее ничего опасного, он скрывал уже теперь сознательно, страшась посвятить ее в роковую тайну.

Доверчивость и уверенность в счастье, после брака Эдмона, стали безграничны в г-же де Пере: увидев ее вместе с Еленой, можно было принять ее скорее за сестру, чем за свекровь молодой женщины. Казалось, она молодела по мере приближения старости.

То, чего не решился сделать Эдмон, сделала Елена: почти каждый день расспрашивала она отца о состоянии своего мужа, и старик, действуя через нее на Эдмона, хотя нерешительно, но продолжал поддерживать надежду.

Так прошло пять месяцев, пять месяцев известной читателю жизни Эдмона, жизни страстной любви и постоянного страха. Оглянувшись на прожитое время, Эдмон не мог не подумать: «Прошло пять месяцев! Четверть определенного мне срока».

Наступила осень.

— Его нужно вести в Ниццу, — сказал Дево дочери, — наблюдай, чтоб он выполнял все мои предписания, и пиши каждую неделю, что заметишь. В марте мы уже будем знать, что делать.

Эдмон, Елена и г-жа де Пере уехали. Желание Елены было законом для Эдмона, желание Эдмона — законом для г-жи де Пере.

Хотел за ними следовать и Густав, да Нишетту взять с собою нельзя было, а оставить жалко. Притом же Эдмон, весь преданный любви, мог удобно обойтись и без дружбы.

Густав остался в Париже, и друзья условились часто и постоянно переписываться.

Читатели поймут, почему мы следим шаг за шагом за нашим героем. Весь интерес заключен для нас исключительно в его судьбе. История второстепенных окружающих его лиц небогата занимательными подробностями. Густав любит по-прежнему Нишетту и взаимно любим ею; г-н Дево продолжает принимать своих больных от одиннадцати до трех; Анжелике удалось одолеть пятьдесят вторую строчку «Кенильвортского замка», и она уже засыпает над дальнейшими похождениями Трисальма; г-жа де Пере по-прежнему живет любовью к Эдмону.

— Мне бы хотелось видеть нынче Италию, — сказала однажды Елена, избегая названия Ниццы, страшной по своему известному гостеприимству неизлечимым, — и через несколько дней все трое уехали.

Ницца закрыта со всех сторон и потому недоступна влиянию ветров. Климат в ней постоянно ровный, воздух пропитан теплою влажностью, так, по мнению Грубера, целебной для чахоточных.

Приехав в Ниццу, Елена нашла, что местность так обворожительна и воздух так чист, что далее незачем и ехать.

— Так останемся здесь, — сказала г-жа де Пере, и не подозревая, почему именно Ницца так понравилась молодой женщине.

— Стало быть, все кончено, — сказал Эдмон Елене, — более нет надежды: твой отец прислал меня сюда, чтоб хоть несколько лишних дней мог прожить я.

— Напротив, мой друг, — отвечала молодая женщина, целуя своего мужа, — отец никогда еще так не надеялся. Он тебя поручил мне, делай только по-моему, и ты увидишь, сколько еще лет проживем мы.

Ницца несколько походит на обширный лазарет, и потому Эдмон нанял небольшой домик за городом. Домик этот, задним фасадом опираясь на холм, передним выходил на солнце, весело игравшее на зеленых решетчатых ставнях. Воздух был удивительно чист и тонок; обставленная лимонными деревьями тенистая аллея, сбегая с холма, приводила к берегам реки Вар, вытекающей из Альп и в полулье от Ниццы впадающей в Средиземное море.

Видевший эти чудные южные реки, прозрачные, как отражаемая ими лазурь, признает невольно все чудеса древней мифологии.

Елене не хотелось лишать жизнь Эдмона очарований, и она просила отца указать ей все средства, какими можно спасти ее мужа, так, чтобы он не заметил даже, что его лечат.

Каждое утро, чуть свет, Эдмон и Елена садились на лошадей и ехали сначала шагом, потом мчались крупною рысью по берегу реки, и, возвращаясь домой, находили г-жу де Пере, проснувшуюся с первыми лучами солнца.

В этой прогулке, кроме удовольствия, была медицинская цель: утомить больного и тем возбудить в нем голод и сон.

Ночью постоянно горела лампа. Лампа эта, подвешенная к потолку и ничем не замечательная по наружному виду, нагревала маленький серебряный сосуд, распространявший в комнате тонкие пары воска и терпентина, очищавшие воздух и доставлявшие Эдмону ровный, спокойный сон. Пища его была приготовляема по особым указаниям доктора.

Все, что только имело малейшее отношение к Эдмону, было устроено по указаниям доктора: удовольствия, пища, само отдохновение. В случае если бы все это не привело к желаемым результатам, молодость, природа и решительные средства должны были спасти его.

Впрочем, от него не ускользнула внимательность, усиленная любовь, с которою за ним наблюдала и ухаживала Елена.

— На твою долю выпала грустная жизнь, дитя мое, — говорил он ей, — но в этих трудах твоих залог нашего будущего счастья, и как мы будем счастливы, если ты успеешь!

При этой надежде слезы увлажняли глаза Елены, и влюбленные скрепляли эту надежду долгим поцелуем, полным обещаний и уже полным действительности.

Вы замечали, что многие больные иногда будто тщеславятся своею болезнью: они горды, как люди, отмеченные роком, как всеми признанные страдальцы. Это одно из утешений, доставляемых разрушительною болезнью: лишать его не следует, у больных утешений так мало. В следующих письмах Эдмона к Густаву вы найдете эту весьма извинительную аффектацию; узнав личные впечатления молодого человека, мы лучше ознакомимся с его положением.

*«Друг мой Густав, — писал де Пере, — мы приехали в Ниццу. В этом городе все кипит жизнью и в то же время напоминает о смерти. Ницца чрезвычайно похожа на болезнь, которая преимущественно посещает ее. Та же меланхолическая тишина, тот же взгляд, бледный и прозрачный, как и у нашей братии, приезжающей сюда лечиться; потом среди скал эта сильная, изумительная растительность — выражение жизни горячей и беспокойной...*

*Мы ведем жизнь самую простую. Елена ходит за мной, как сказал ей отец и как ее сердце внушает ей. Не знаю, лечение ли мне приносит пользу, или это надежда действует на воображение, только мне как будто лучше. Я не так бледен, как был в Париже, и могу иногда спокойно спать по ночам.*

*Есть вещи, которых ты не можешь понять, ты, свободно вдыхающий своими здоровыми легкими воздух всех стран и климатов, но я постараюсь тебе объяснить, в чем дело, почему здесь я переношу жизнь легче. Все, меня окружающее, представляется мне в каком-то особенном свете. Я смотрю теперь на небеса, на цветы, на любовь, подстрекаемый боязнью скоро расстаться с ними, совершенно иначе, чем когда полагал, что еще долго буду ими наслаждаться. Домик, в котором мы живем, прислонен к невысокому холму, иссеченному рытвинами и покрытому мелким кустарником. Иногда в самый полдень, когда солнце высоко на небе, будто желая доказать себе, что я могу бороться с усталостью, одолевающей самых сильных и здоровых, я вхожу в эту маленькую пустыню и блуждаю в ней с открытой головой по целым часам. Иногда захожу в образованные рытвинами пещеры и сажусь там: меня пронизывает сырость, и я чувствую, как холодеет на моем лице пот. Тогда я себя спрашиваю: «Не вредит ли мне это?» — и сам себе отвечаю: «Если нет никаких последствий, стало быть, мое положение вовсе не так страшно». Я сам себе создаю трудности и упражняюсь в их преодолении, каждую минуту испытываю свои способности к жизни, а мне говорят, что я каждую минуту должен беречься. Иногда мне кажется, что только природа может вылечить все недуги, так как от нее же они происходят; и тогда я бегаю, езжу верхом, пью и ем сколько могу и потом над собой наблюдаю: страдание не усиливается, мне даже будто легче.*

*Ведь мне так хорошо жить, я так сильно люблю, и Елена так любит меня! Если бы ты знал, что за ангела послал мне Бог на пути моем! Знаешь, почему я почти убежден, что не проживу долго? Иногда мне будто слышится тайный голос: «Небо дало тебе такую подругу затем, чтобы в короткое время, назначенное тебе жить, сердце твое высказалось вполне сочувствующему сердцу».*

*О, как бы я хотел жить для Елены!.. Сознаю, как во мне много любви. Кажется, если бы сто лет довелось мне жить с нею, я и то не успел бы доказать*

ей всю силу своей привязанности...

Вижу вокруг себя людей, одних лет со мною, здоровых и женатых — и как мало думают они о своих женах! Один весь поглощен честолубием, другой страстный игрок, наконец, есть непостижимые для меня люди, которые готовы ровно ничего не делать, скучать Бог знает где, чтобы только не быть дома с молодыми, прекрасными женами. Да какое же еще лучшее употребление можно сделать из жизни, как не посвятить ее всю безраздельно любимой женщине? И так добровольно уклоняться от истинного счастья! Как будто в год или в два года прочли они всю эту заповедную книгу — свое сердце, каждое слово в которой — очарование! О, как бы они поняли истинную цель жизни, если бы дни их были сочтены, как мои, если бы роковой голос сказал им: «Далее этой черты вы не пойдете!»

С тех пор как я полюбил Елену, я полюбил еще сильнее мать, потому что понял, какую громадную жертву принесла она, посвятив мне все свое существование. В молодости, лишившись первого мужа, отказаться от нового брака, отказаться от любви, еще не изведанной ею, сосредоточить все радости жизни в любви материнской! Так ли поступит Елена, когда я умру? Переживет ли наша любовь одного из нас? Страшное сомнение! Бесчеловечно — не правда ли? — было бы потребовать от нее клятвы, что моя память будет ей так же дорога, как теперь любовь наша; нарушение этой клятвы повлечет за собою страшные угрызения совести. Я этого не сделаю. Я об одном только молю Бога: под какую бы то ни было формою даровать счастье этому прекрасному ребенку, доверчиво отдавшему мне цвет своей юности и юность любви своей. Умру я, полюбит ее другой, полюбит она другого — но уже ни перед кем не откроются сокровища ее первых впечатлений, никто, кроме меня, не поведаст ей тайну первой, ничем неизгладимой симпатии. Я убежден даже, что в минуты полного самозабвения, в объятиях другого, мое имя смутно осенит ее.

Ты будешь по-прежнему ее другом — конечно? Не забывай меня, навещай вместе с нею, чаще навещайте мою могилу; видишь, я иногда мечтаю о будущем, но не смею надеяться; действительность и рассудок не дают мне забытья. Густав, я как брата люблю тебя — люби ее как сестру, рука твоя будет нужна ей. Если она ошибется в выборе, если ее обманут — защити ее. Негодяя, который заставит страдать ее, — убей!

Но зачем мне приходят эти мысли?..

Некоторые из здешних изъявили желание познакомиться с нами — я не хочу. Связывать прочную дружбу — не стоит: чтобы еще кто-нибудь сожалел обо мне? Чтобы мне еще лишнее сожаление при расставании с жизнью? А в обыкновенном светском знакомстве вовсе нет смысла для человека, поглощенного двумя идеями: смертью и любовью. Не может оно меня ни успокоить, ни даже развлечь...

В вист мне с ними играть, что ли, или в шахматы? Стану ли я тратить на это время, когда пять-десять лет счастья хочу я прожить в два года, когда для любви к матери, к жене и к тебе, друг, положен мне определенный срок?

Теперь годами считаю, потом днями придется... потом минутами... как покойник отец... Горько было ему умирать без любви! А мне — я еще не знаю,

каково будет умирать. Как мне предстанет эта любовь в минуту смерти: как удовлетворение жизнью или как сомнение? Даже в первом случае: успокоит ли она или смутит мои последние минуты?

Надоел я тебе своими сетованиями... Если нет, прости мне это предположение, я не сомневаюсь в тебе: отдаю все, что в душе моей...

А если спасет меня Дево, какая счастливая жизнь предстоит нам! Продолжить до пределов обыкновенной человеческой жизни счастье, о котором я мечтал только на два года, — ведь это рай земной будет! Спокойно носить в сердце три привязанности, без этой отравляющей мысли! Молись за меня, Густав, молись...

Пиши чаще мне: что твоя Нишетта? Все по-прежнему? Любит тебя, и ты любишь? Помню, как она плакала, когда письмо ее попало в мои руки. Добрая девочка! Письму-то ее я и обязан всем своим счастьем. Крепко поцелуй ее за меня да скажи, что на днях пришлю ей шелковые и шерстяные материи: у нас захватили контрабандистов.

Вместе с письмом запечатан тебе в этом конверте братский поцелуй Елены».

В то же время Елена писала доктору:

*«Добрый отец мой!*

*Уже несколько дней, как мы в Ницце. Г-жа де Пере по-прежнему любит меня, как дочь родную, а я заметила, что, расставшись с тобою, полюбила тебя еще сильнее, если только можно сильнее любить. Я счастлива, отец, чересчур счастлива. Не раскаивайся в твоём согласии, только не забывай, что от тебя зависит продлить наши красные дни. Только чтоб Эдмон жил, потому что, умри он — я не знаю, что со мной будет.*

*Все твои предписания выполняются с точностью, и, кажется, ему лучше.*

*Рассказать нельзя, как он меня любит; знал бы ты все подробности — стал бы к нему ревновать, добрый мой, несравненный отец. Понимаешь: ни одна женщина не была так любима.*

*Доктора, говорят, все объясняют. Объясни ты мне мои чувства к Эдмону. Моя преданность ему должна походить на любовь матери. Сколько помню, мать так любила меня. Разумеется, это оттого, что я сильнее его, хоть и женщина, и ему нужны мои попечения. Его болезнь возбуждает во мне странные чувства. В его выздоровлении наше счастье, и я молю Бога только, чтоб он выздоровел; делаю для этого все, что могу. А когда целый день не заметно в нем вовсе слабости, когда настает для него временное облегчение и со всеми признаками полного выздоровления — поверишь ли? — мне нехорошо. Кажется, я бы лучше хотела видеть его больным; он бы лучше принадлежал мне... Сколько эгоизма-то в любви самой искренней!*

*Ты скажешь, что не следует так любить? А не так ли и ты любил мою мать?»*

Елена не могла поверить отцу все свои чувства. Инстинктом молодой женщины она

понимала оттенки двух различных привязанностей. Она написала то, что могла написать отцу.

Но мы безбоязненно можем заглянуть в это юное сердце, полное страсти и поэзии, и отделить в нем страстную любовь жены от доверчивой преданности сестры и внимательной привязанности матери. Предмет, заслуживающий изучения: сердце молодой, полной силы и красоты женщины, шаг за шагом следующей за любимым человеком, наивно сознающей в эгоистической стороне любви своей и говорящей себе: «В этом человеке все мое счастье; с его смертью умрут моя красота, молодость, сила, верования и любовь. Сердце мое переполнилось любовью, я не могла одна переносить его тяжести. Этот человек — сосуд, в который я положила свое сердце. Лопнет сосуд — сердце упадет и смешается с грязью».

Иногда Елена думала: «Какая жизнь предстоит мне без Эдмона? Продолжать смотреть на дома и деревья, жить одною внешнею жизнью, между небом, отвергшим мои моления, и землею, поглотившею мое сокровище, осязать и не чувствовать, смотреть и не видеть, слушать и не понимать — вот она, жизнь, не просветленная любовью. Другого полюбить? — невозможно. Сердце не вмещает двух одинаковых привязанностей и, выпуская первую, — разрывается. Зачем же тогда жить? Мы любим друг друга; как же допустить мысль, что его не будет, а я буду?»

Если все мои усилия не помогут, если Эдмон умрет — я не переживу его.

Но что будет с отцом, с добрым, несравненным отцом, если я его одного здесь оставлю?.. Божье Правосудие среди самого отчаяния привязывает человека к жизни. Моя верность мужу будет преступлением в отношении к отцу».

«Боже, — молилась тогда Елена, падая на колени, — ты видишь, сколько счастья, сколько существований связано с существованием этого человека, — Боже, спаси его!»

И, будто в доказательство того, что ее молитва услышана Богом, молодая женщина в тот же день получила от отца письмо следующего содержания:

*«Полно тебе смеяться над стариком, спрашивая у него истолкования своим чувствам. Доктора не могут тебе всего объяснить, потому что доктора материалисты, по большей части, а не все в мире можно совершенно объяснить материей; если бы у всех докторов была такая же, как у меня, дочь, тогда они больше бы знали, потому что такой ребенок, как ты, Елена, фактически дополнил бы их духовное образование.*

*Я верую в Бога, как во все истинное и доброе, я хочу, чтобы ты была счастлива, потому что ты этого заслуживаешь как покорная дочь, знаю, что твое счастье зависит от здоровья Эдмона, и вот что на этот раз скажу тебе: больной излечивается при счастливом соединении двух условий: при благотворном влиянии на его душу и при разумном действии на его тело.*

*Душа Эдмона в твоих руках, и мы обеспечены на этот счет: лучшего врача для нее быть не может.*

*А на тело мы действуем и действуем, кажется, не без успеха; с Божьей помощью скоро, может быть, покажем, что наука не даром дана человеку. Молись и надейся».*

Через две недели после этого письма Елена писала отцу:



*«Как только получишь эти строки, бросай все и приезжай к нам. Как бы ты ни торопился, боюсь, опоздаешь. Эдмон при смерти».*

Лечение шло как нельзя удачнее, Эдмон поправлялся заметно, но неблагоприятное его разное испортило все дело.

Мы прочли в одном из его писем к Густаву, что он часто бегал до утомления в жаркий солнечный день и потом вдруг останавливался где-нибудь в ложине и чувствовал, что пот стынул на его лице. Ему недолго пришлось производить подобные опыты; однажды после такой экспедиции он возвратился домой, дрожа от холода, изнемогая от головной боли, и после продолжительного обморока уже принужден был не вставать с постели.

Не зная причин и ужаснувшись последствий, Елена тотчас же написала отцу.

Содержание ее письма известно читателям.

По несомненным указаниям она убедилась, что уже нет средств спасти мужа и последний час его наступил.

Послав тотчас же за лекарем, к которому в случае необходимости отец ее советовал обратиться, молодая женщина у изголовья больного решила терпеливо ждать своей участи.

Невозможно было скрыть от г-жи де Пере эту печальную новость. Нелегко ей было свыкнуться с мыслью, что ее сын в опасности; с тех пор, как он женился, она совершенно на этот счет успокоилась. Но все признаки были так очевидны, что, раз закрывшееся в ее душу, сомнение уже не покидало ее и тревожило сильнее прежнего.

Сначала она полагала, что это незначительная простуда, но при виде Эдмона, два часа не приходящего в чувство, слыша его бред после двух часов совершенного отсутствия жизни, при виде лекаря, почти безнадежно качавшего головой, переход к полному отчаянию произошел в ней незаметно и как громом поразила ее.

Для натур любящих и живущих исключительно сердцем — нет в подобных случаях середины. Накануне, уверенная в здоровье сына, она была совершенно спокойна; на другой день надела уже траур.

Ей казалось, что Эдмон уже умер.

В десять минут она постарела на десять лет.

У постели сына сидела она, неподвижно устремив на него глаза, как статуя безмолвной печали.

Две слезы выкатились из ее глаз, только две; но на щеках бедной матери можно было видеть следы этих слез. Они изрыли лицо ее, как поток лавы прорывает стены вулкана.

Вся жизнь, вся душа г-жи де Пере перешли в ее взгляд, приковавшийся к лицу Эдмона и следивший за едва заметными движениями одеяла на его груди. С достоверностью можно было сказать, что если бы движения эти прекратились, взгляд матери закатился бы вместе с ее жизнью, без боли, без усилия, и две родственные души навсегда соединились бы перед лицом Бога.

Так могущественно, всеокрушительно было ее горе, что она даже не могла подать ни малейшей помощи виновнику своих страданий. Она отдала бы жизнь свою сыну, но ничего не способна была сделать для его спасения. Она бы умерла, если бы он умер, но теперь могла только страдать, потому что слишком сильно страдала.

Болезнь Эдмона иначе подействовала на Елену: различие между двумя привязанностями ясно выразилось в различных проявлениях горя.

При виде холодного, неподвижного и как мертвец бледного мужа страшный крик

вырвался из глубины души Елены: «Все кончено!»

Но в ту же минуту она ощутила необъятные силы в своей груди, сверхъестественная энергия выросла в ней перед лицом угрожающей опасности, в самой глубине сердца замкнула она свое горе и дала твердый обет не покидать мужа.

«Он прежде всего», — промелькнуло в уме ее.

Этот торжественный обет передала она г-же де Пере в поцелуе; обессиленная страданием, мать не слыхала, сколько упования и возможности спасти больного было в преданности молодой женщины.

Потом она послала за лекарем и написала отцу и Густаву, чтоб они приезжали, бросив все. Ей казалось, что невозможно окружить Эдмона попечениями и привязанностью, сколько следует.

Мы уже сказали, что лекарь, взглянув на больного, не выразил никакой надежды спасти его.

— Сделайте только, чтобы хоть неделю он прожил, — сказала Елена, — вот все, о чем я вас прошу, доктор.

По ее расчетам, в неделю письмо могло дойти в Париж, и г-н Дево мог приехать. Она так веровала в искусство и любовь своего отца, что с его приездом считала Эдмона спасенным.

Г-н Мюрре (так звался приехавший лекарь) объявил Елене, что в течение недели состояние больного не может измениться к худшему.

Худшее — была смерть.

Мюрре пустил Эдмону кровь; это облегчило грудь больного и дало ему возможность дышать свободнее; но реакция обратилась на мозг: последовал бессознательный бред.

Бред — ужасный исход болезни, грустное подобие безумия, страшное состояние больного, повергающее в трепетное смущение всех его окружающих, с недоумением смотрящих друг на друга, не зная, как остановить бессвязный, бессмысленный поток речей, который ужаснее мрачного, предшествующего смерти безмолвия.

В продолжение бреда г-жа де Пере, наклонясь к сыну, говорила ему, как будто слова ее могли быть понятны его сердцу:

— Эдмон! Друг мой, мое счастье! Не говори так, не говори... Это я — твоя мать, тебя умоляю.

Но губы больного по-прежнему лихорадочно двигались, и бред продолжался.

В эти долгие ночи Елена ложилась у ног г-жи де Пере и говорила ей, целуя ее горячие руки:

— Не теряйте надежды... надейтесь... отец скоро приедет.

Г-жа де Пере, ничего не отвечая, сжимала руки невестки.

Во все это время от нее нельзя было добиться ни мысли, ни слова. Она ничего не ела и только пила воду, чтобы унять внутренний жар. Если бы болезнь Эдмона продолжалась, она прожила бы так несколько месяцев: только душа ее требовала пищи и питалась молитвой и страхом.

Так прошло три дня и четыре ночи.

На четвертый день утром бред прекратился, более спокойный сон несколько оживил больного; он проснулся слабый до невероятности, но уже сознание возвращалось к нему, и он узнавал окружающих.

— Елена, мать, — сказал он, повернув к ним голову.

«Он меня после назвал...» — прошептала г-жа де Пере.

— Долго ли я спал? — спросил Эдмон, будто в тумане припоминая что-то. — Ничего не помню...

— Четвертый день, друг мой, — отвечала г-жа де Пере. — Теперь тебе лучше ли?

— Да, только грудь все болит, сбоку: а вы, вы обе не спали... поочередно? — продолжал он, усиливаясь протянуть им руки.

— Обе вместе, — отвечала Елена.

— Родные мои, Бог благословит вас!

И Эдмон почувствовал, что на глаза его навернулись слезы.

Он устал говорить и потому дышал тяжело. Сознание возвратилось к нему вполне: идея близкой смерти поразила его, и он горько заплакал.

— Оставьте, оставьте меня... слезы меня облегчат, — говорил он Елене и матери.

Г-жа де Пере упала на спинку стула, который не покидала почти четверо суток.

«Кончено, — подумал Эдмон, чувствуя, как горела истощенная грудь его, — сам ускорию свою смерть, сам себя уморил...»

И еще обильнее полились из глаз его слезы; силы у несчастного только и хватало, чтоб плакать.

Елена догадалась, о чем эти слезы.

— Не плачь, Эдмон, — сказала она, — успокойся, я написала отцу, он скоро будет.

В глазах больного засветилась надежда.

Письмо Елены пришло вовремя. Дево, не теряя времени, отправился взять место в мальпосте.

Места были все разобраны.

Тотчас же он нанял коляску и спросил почтовых лошадей, оставив себе только два часа для необходимых приготовлений.

Густав, получив письмо, тотчас же побежал к Нишетте.

— Милая, Эдмон умирает, — сказал он, — я еду. Зачем я не поехал с ним! Теперь я вряд ли увижу его. Когда он уезжал, я думал: он так счастлив, что я не нужен ему. Пиши мне, Нишетта: я тебя уведомя обо всем, что случится.

Нишетта и Густав обнялись со слезами.

— Елена, верно, уж написала отцу, — сказал Домон, — заеду к нему и еще забегу проститься с тобою.

Густав нашел доктора в приготовлениях к отъезду.

— Я с вами еду, — сказал он.

— Через час выезжаем, — отвечал доктор.

Густав сел в кабриолет, заехал по обещанию проститься с Нишеттой и в ту минуту, как почтальон садился на козлы коляски, был уже у доктора.

Лошади поскакали в галоп.

Через четыре дня г-н Дево и Густав были уже в Ницце.



За два дня до приезда Дево и Густава у Эдмона возобновился бред, и Мюрре еще раз пустил больному кровь. Эдмон был в беспамятстве; сознание возвращалось медленно.

Мать и жена бодрствовали постоянно: одна у изголовья, другая в ногах больного; менее всех страдал Эдмон, не сознававший своих страданий.

Полуопущенные занавески постели оставляли в тени умирающего. Слабый луч висевшей посреди комнаты лампы освещал только матовую белизну его исхудалой, слабой руки.

Елена и г-жа де Пере, обрадованные возвращением больному сознания и допустившие на минуту возможность его исцеления, при возобновлении слабости и горячечного бреда погрузились снова в уныние.

Обыкновенно у постели умирающего любящие его припоминают то время, когда он был в цвете сил, счастья и здоровья. Прошедшее возникает со своими счастливыми днями и сыплет их на безотрадное настоящее, как ребенок цветы на могилу. Грустнее всего эти воспоминания матери, потому что для нее нет пределов в прошедшем. Ни один из фазисов существования ее ребенка не безызвестен ей: с его именем встают в ее памяти имена другие, тоже похищенные смертью. Все ее прошедшее живо ее объемлет, и она переносится мыслью и сердцем в золотые дни своей молодости, любви и иллюзий. Лишенная сна, она на несколько минут забывается — и еще ужаснее ее обращение к действительности, еще больнее сосет ее сердце уснувшая на минуту змея.

Так и г-жа де Пере, под звуки мерного, тяжелого дыхания Эдмона, перенеслась в давно минувшие годы, и перед ней промелькнула тень Эдмона, ребенка, улыбающегося ей среди своих детских игр. Как она была счастлива в эти годы!

Тогда она была молода, любила сама, правда, не бурною, чувственной страстью, но спокойной, просветленной сознанием привязанностью. Небо даровало ей ребенка, и она заключила в нем все богатства души своей. Припомнила она, как ее тревожили малейшие недуги слабого малютки, как она радовалась, видя, что малютка рос, как благодарила Бога, когда душа Эдмона начала под ее неусыпным влиянием развертываться, как цветок, улыбающийся весеннему солнцу. Потом муж ее умер, и у нее уже ничего в мире не осталось, кроме ребенка: счастье, любовь, надежду и само существование свое положила она в единственную для себя на земле отраду; и вот через двадцать четыре года постоянных забот, тревожных опасений, в свое время возникших и уже исчезнувших, когда ее привязанность к сыну укрепилась привычкой, так властной над человеческим сердцем, она проводит ночи над смертным одром своего сына, как проводила их некогда над его колыбелью, и ничем не может остановить на земле его душу, стремящуюся улететь и увлечь с собою все ее прошедшее, все ее будущее.

Только матери могут понять эту муку; если бы мы писали исключительно для них, мы бы ограничились словами: «Эдмон умер; его мать сидела у его изголовья».

Матери, любящие детей своих! Если бы вы были на месте г-жи де Пере, не правда ли, у вас поневоле вырвались бы эти слова, вырвавшиеся против воли у матери Эдмона:

«Господи, сохрани мне моего ребенка! Не прошу, не смею просить ему здоровья, но чтоб он только был жив, чтоб только не прекратил это дыхание, с которым связана жизнь моя, чтоб не слыхала я у его постели отходной молитвы, чтоб не положили на моих глазах в тесный, холодный гроб это тело, которому я дала жизнь, эти руки, которые я еще могу

держат в своих руках, это лицо, которое еще так недавно мне улыбалось и называло меня матерью!.. Чтоб не слыхала я ужасный звук могильного заступа, чтоб не взяли от меня, не зарыли в сырую землю мое сокровище, дитя мое, плоть мою!.. Боже! Пошли мне другое, самое страшное испытание — я перенесу его безропотно; но спаси сына! Он для меня нужен, что я буду без него в старости? Боже! Избавь меня в этом мире от мучений осужденных Тобою грешников!.. Если нужно, чтобы во всю остальную жизнь свою я, как теперь, не спала ночей и беспрестанно молилась, — я не буду спать, буду молиться и благословлю свою участь. Господи! Пусть он этого не видит, не знает, пусть даже не увидит, не узнает меня, — но пусть живет!.. Или пусть я, — продолжала в отчаянии бедная мать, простодушно полагая, что с Богом можно заключать условия, — пусть я его никогда более не увижу, Господи, я всю жизнь посвящу тебе, заключусь в монастырь, буду по целым дням стоять на коленях, на холодных плитах... только чтоб я знала, что он жив, что он счастлив, и чтобы иногда, Господи, в моем сновидении посетил меня его образ, если ты даешь сон матерям, навсегда разлученным с детьми. Я виновата сама, зачем допустила его полюбить женщину... Я должна была беречь его для себя, он бы не умирал теперь, может быть. Я наказана. Пока он принадлежал мне одной, он был здоровее. Его убила страстная любовь, тогда как моя тихая, кроткая привязанность дала бы ему силу для жизни».

И при мысли, что Эдмон может скоро умереть, г-жа де Пере почти ненавидела Елену.

А прекрасный, кроткий ребенок в то же время выражал перед Богом свою душу другою молитвой:

«Господи! Неужели ты его отзываешь от земной жизни? Ведь я только полгода любила его! Твое святое имя было всегда присуще нашей любви. Хоть бы два-три года еще он прожил, я прежде боялась, мне казалось, это так мало, — теперь это для меня целая вечность. Боже мой! Видеть, как уносится мечта всей нашей жизни, видеть холодными, сомкнутыми вечным молчанием уста, научившие нас первым словам любви — есть ли ужаснее мука! Ты видел, Господи, как я любила его, как посвятила ему свою жизнь и молодость, прости меня, если я иногда смела надеяться, если иногда казалось мне, что мы можем быть долго счастливы... Не наказывай меня ныне!.. Оставь нас друг другу — мы любим... Ты видишь нашу любовь, знаешь мечты наши.

Господи! Не могу представить себе, что я брошу горсть земли на холодный труп. Ведь этот труп был живым, ведь я сжимала его в своих объятиях...

Страшно подумать... Если он будет жить... но душа его навсегда закроется для любви... если не буду я слышать страстных речей его, даже здесь, у постели умирающего, волнующих все мое существо, если я должна буду забыть этот мир упоенья, который он же открыл мне... и он будет жить... жить какдвигающийся труп, одной внешнею жизнью, не понимать... не чувствовать... Нет! Пусть тогда лучше умрет он! Полная смерть лучше этой смерти духа.

Жить с ним — и бояться убить его словами любви, жить — и в самой молодости отречься от страстного сочувствия родственной души, жить — и всегда перед глазами иметь движущуюся смерть; забыть свою пламенную, страстную любовь и все требования молодого сердца заключить в непонятом, нецененном, тревожном и боязливом ухаживании за полумертвым, разбить чашу, которую я едва поднесла к губам своим, и похоронить себя заживо возле разрушающегося мертвеца... нет! Лучше остаться вдовою и завтра же облечься трауром!..»

Как разное понимается и чувствуется любовь матерью и женою: только и есть общего между двумя родами привязанности — эгоистический характер истинной любви.

Матери трудно не вспомнить тихие радости, доставленные ей детством ребенка, молодой женщине, страстно любящей своего мужа, перед которой только что открылся таинственный мир любви, нельзя не перенестись в те минуты полного самозабвения, когда исчезает весь мир и иная жизнь чудится человеку...

Елена обладала сильным, энергичным характером; читатель это заметил в ее твердой решимости выйти за Эдмона замуж; это была одна из тех пылких натур, которые ничего не умеют делать вполнину. Эдмон любил со всем пылом и энергиею двадцати трех лет; молодая женщина не могла уже полюбить в нем другого человека, не похожего на созданный ее воображением идеал и на его осуществление в первые месяцы их замужества.

Ее любовь не могла принести себя в жертву, как любовь г-жи де Пере.

Весьма вероятно, что по прошествии нескольких лет замужества и имея уже детей, Елена думала бы иначе; но она была замужем только полгода, и ей всего было девятнадцать лет.

Мы уже сказали в предыдущей главе, что Дево и Густав приехали в Ниццу; но читатель припомнит, что г-жа де Пере, сын ее и Елена жили не в самой Ницце, а в предместье, не имевшем никакого собственного имени: город не начинался и не оканчивался в этом месте. Домики выстроены были в значительном расстоянии один от другого, и наши приезжие не знали, к кому обратиться с вопросом.

Дево смотрел в обе стороны, не найдет ли где по приметам жилище своей дочери, когда с ним поравнялись гуляющие: господин преклонных лет, дама того же возраста, со складным стулом в левой и с книгою в правой руке, и молодая девушка.

Их экипаж ехал в нескольких шагах перед ними. Дево вышел из кареты.

— Не можете ли вы указать мне, — сказал он старому господину, — где здесь живет г-н де Пере?

— Мы теперь идем именно узнать о его здоровье, — отвечал вопрошаемый, — мы его соседи, и с тех пор как бедный молодой человек заболел, каждый день о нем осведомляемся. Мы нашли неудобным заводить в такое время знакомство. Если увидите его мать и жену, милостивый государь, потрудитесь передать им наше полное участие и надежду на его выздоровление.

Во время этого разговора Густав тоже вышел из кареты и подошел к разговаривавшим.

— Вот дом г-на де Пере, — продолжал старик, указывая рукой на домик с зелеными ставнями, — а здесь я живу, — прибавил он, оборачиваясь и указывая на другой домик, шагах в ста от первого. — Я полковник Мортонь; это моя жена и дочь; если мы чем-нибудь можем быть полезными больному и его семейству — потрудитесь сказать им, что мы вполне к их услугам.

Г-жа де Мортонь и ее дочь движением головы подтвердили слова полковника.

Поблагодарив де Мортоня, доктор тотчас же спросил:

— Стало быть, де Пере еще жив?

— Третьего дня ему даже было лучше, — отвечал де Мортонь.

— Благодарю, благодарю вас, полковник; я отец жены де Пере, я доктор; позвольте мне предложить и вам мои услуги, если, на несчастье, кто-нибудь у вас будет нуждаться в моей помощи.

Де Мортонь и Дево пожали друг другу руки, и последний в сопровождении Густава направился к указанному домику.

Полковник с женою и дочерью продолжали прогулку.



Едва вошел Дево, Елена бросилась к нему на шею, г-жа де Пере целовала его руки и, обняв Домона, как сына, только и сказала ему: «Бедный мой Густав!» Но в голосе, каким были сказаны эти три слова, слышалось, как много выстрадала она в одну неделю и как еще велики ее опасения.

Подойдя к постели больного, доктор взял его руку.

Эдмон не пошевелился. Он был в беспамятстве.

— Мюрре был? — спросил доктор у дочери.

— Был.

— Открывал кровь?

— Да.

— Каждый день?

— Каждый день.

— Хорошо.

Густав и г-жа де Пере, притаив дыхание, слушали каждое слово доктора.

Дево отвернул одеяло и приложил ухо к груди больного.

— Сам Бог послал ему эту болезнь, — сказал он, покрывая Эдмона.

— Что это значит? — вскрикнули обе женщины.

— Если мне удастся вылечить эту простуду, — продолжал доктор, — он будет избавлен вполне от своего постоянного недуга. Теперь в нем ничто не сопротивляется лечению; легче медику действовать на больного, прикованного к постели, чем на пациента, который и ходит и ест; ничтожнейшая случайность может тогда уничтожить все усилия медика.

— Стало быть?.. — вскрикнули обе женщины.

— Стало быть, можно полагать с достоверностью, что эта простуда к его же счастью.

Г-жа де Пере и Елена, смеясь и в одно и то же время плача, бросились обнимать друг друга.

Выздоровление Эдмона было точкою соприкосновения их привязанностей.

Будто праздник настал во всем доме.

— Сколько тебе надобно времени, отец? — спросила Елена.

— Не совершенно вылечен, а спасен Эдмон может быть в две недели; само выздоровление протянется долго, потому что в это время я буду действовать на самое болезнь. Это пройдет пять, шесть месяцев, пока мы здесь.

— Стало быть, ты не уедешь?

— И ты спрашиваешь! Ведь твое счастье в здоровье мужа — не так ли?

— И в твоём здоровье, отец.

— Доброе дитя! — сказал Дево, обнимая Елену. — Теперь вот что: я хочу, и — понимаешь — хочу как доктор, чтобы ни одной слезы не было во всем доме...

Через три недели, точно, весь дом будто ожил.

Елена сидела у постели больного. Эдмон говорил с трудом, но уже смотрел сознательно и держал жену за руку.

— Ты много плакала в эти три недели, — говорил он ей слабым голосом. — Ангел! Как ты должна была страдать! Ужасная болезнь! Жить и не видеть тех, кого любишь! Я тебя чувствовал здесь, возле себя, потому что сердце мое связано с твоим невидимою нитью — и не мог видеть тебя, не мог говорить: бессознательный бред покрывал все, что я хотел сказать...

— Бедный друг!

— О! Если я возвращусь к жизни, ты будешь самую счастливою женщиною в мире — я этого хочу. Где же моя мать? Моя мать? Знаешь, я почти забыл про нее, увидав тебя! Я тебя так люблю, что любовь воротилась ко мне раньше сознания.

— Она в зале; она знает, как любишь ты встречать меня при своем пробуждении, и нарочно ушла, видя, что ты уже вне опасности. «Я ему теперь не нужна», — сказала она. — Как она тебя любит, Эдмон!

— Отыщи ее, — сказал Эдмон — и его глаза наполнились слезами при мысли о святой любви матери, — нужно ее побранить, что не дождалась моего пробуждения. Ты меня не ревнуешь к ней?..

— Она ревнует...

— Друг мой, она отдала мне все свое сердце и не может привыкнуть к мысли, что в моем есть место и другой привязанности. Умри ты, Елена, — я застрелюсь, но если умрет мать — я, кажется, сам умру с горя. Приведи ее.

Елена поцеловала в лоб мужа и пошла в залу.

Оставшись один, Эдмон произнес тихо:

— Боже! Дай здоровья и счастья этим двум ангелам, поставленным Тобой на пути моем.

При входе Елены в залу г-жа де Пере разговаривала с де Мортонем, его семейством, Дево и Густавом.

— Эдмон хочет вас видеть, маменька, — сказала Елена, — хочет пожурить вас за то, что, проснувшись, только встретил меня одну.

Радостная улыбка пробежала по лицу матери.

Г-жа де Пере побежала к сыну.

— Ты обо мне вспомнил, друг мой? — сказала она.

— Обойми меня, добрая мать, — сказал Эдмон, обнимая ее исхудалыми своими руками, — твоя любовь возвратила мне жизнь.

— Спасен! Спасен! — шептала г-жа де Пере. — Доктор сейчас говорил. Господи, благодарю Тебя!

И она крепко целовала сына.

— В зале гости? — спросил Эдмон.

— Да, полковник Мортонь.

— Кто это?

— Достойнейший человек; все время, как ты болен, приходил узнавать о тебе, с женой и дочерью... Дочь очень хороша, шестнадцати лет. Ведь у Дево свои привычки... В Париже он по утрам с больными, а вечером или принимает у себя, или играет в клубе. Здесь ему трудно отстать. Сначала ты был так болен, что он занимался тобой целый день; теперь тебе, слава Богу, легче... ведь легче, дитя мое?

— Легче, моя добрая, успокойся.

— Ну, ему вечером скучно, и он хочет развлечься, он и играет с полковником в пикет. Иногда мы, чтобы сделать ему удовольствие, садимся с ним в вист. Меня это, конечно, не занимает, мне приятнее быть с тобою; но ведь он так много для нас сделал, что для него можно и поскучать. Я бы ему, кажется, жизнь отдала.

— А Густав? Ведь ему здесь, страх, скучно?

— Нет, он не скучает. По утрам ездит верхом с полковником и его дочерью, иногда заезжают очень далеко — это их развлекает. Теперь за тебя все спокойны. Скоро вот тебе можно будет вставать, ты придешь в залу, будешь играть с нами. Впереди еще много

счастливых дней, друг мой.

— Бедная мать! — заметил Эдмон, внимательно всматриваясь в г-жу де Пере.

В самом деле, ее узнать было трудно. Несколько счастливых дней не могли изгладить тяжелых следов страдания.

— Да, — отвечала она, — я переменялась за это время. Ты найдешь на моей голове несколько лишних седых волос... Это что, впрочем! Теперь я опять помолодела.

И г-жа де Пере снова поцеловала сына и на своем лице почувствовала слезы Эдмона.

Густав постоянно уведомлял Нишетту о ходе болезни Эдмона. Дни, в которые гризетка получала письма из Ниццы, были для нее настоящими праздниками. С самого отъезда Густава она имела очень мало развлечений, лучше сказать вовсе не имела. Для того чтобы угодить ему, она давно бросила свои прежние знакомства и с его отъездом осталась совершенно одна в Париже.

Сначала она много плакала, потом, узнав, что Эдмон вне опасности, радовалась до безумия потому, во-первых, что ей было бы очень жаль, если бы Эдмон умер, а во-вторых — во-вторых, потому, что с выздоровлением де Пере связано было возвращение Домона.

Она написала ему письмо: в нем говорилось, как ей скучно, с каким нетерпением ждет она своего друга, как мечтает о нем.

Получив это письмо, Густав внимательно прочел его два-три раза и потом, положив в карман, сказал с истинным участием:

«Бедная Нишетта!..»

В ответ ей он написал, что слабость Эдмона еще требует его дружбы, но что как только выздоровление выразится заметнее, он немедленно приедет в Париж.

Мы забыли сказать — впрочем, нет надобности и говорить об этом, — что Эдмон, найдя у своей постели Густава, благодарил его от души и благодарил Бога за эту третью привязанность.

Мы сказали в предыдущей главе, что уже опасаться было нечего; острая болезнь миновала, и Дево действовал на недуг хронический.

Он предупредил больного, что три или четыре месяца ему придется не выходить из дома и что только при этом условии можно его излечить совершенно.

Эдмон покорился; да и кто не покорился бы на его месте? Больному позволили небольшие, обыкновенные для выздоравливающих развлечения.

Пока он не мог вставать, Елена находилась безвыходно у его постели, читая или работая, и, время от времени оставляя эти занятия, склонялась к нему головою, и Эдмон по целым часам ласкал ее, перебирая ее густые волосы.

— Я бы всю жизнь так провел, — говорил он ей. — Выше нет, мне кажется, счастья! Я на тебя смотрю, говорю с тобою — и весь мир для меня в этих двух словах. Зачем мне все остальное? Зачем нам другие небеса, другие люди? Мне только и нужно, чтобы в моей руке была твоя. Мать и ты, этот маленький домик, этот вид на недалнее расстояние, уединенная прогулка, иногда посещения или письма Густава — ведь это рай земной! Но ты — не согласишься на такую жизнь, Елена?

— Ведь я буду с тобой, мой Эдмон? Чего же мне еще надо?

— Глупцы — требующие Бог вещь чего от жизни, вместо тихих радостей молодой и доверчивой любви! Твой отец обещает мне, что я еще проживу долго.

— Он тебя вылечит совсем. Тебе не будет приходить в голову эта несносная идея о смерти.

— Знаешь, как мы тогда устроимся? Купим мы в Швейцарии или в Италии небольшой беленький домик где-нибудь подальше, или на берегу одного из этих голубых прелестных швейцарских озер, или в лесу, чтобы он, как гнездо, скрывался между деревьями. Там мы поселимся с моею матерью. До того, что говорят, что делают другие, — нам не будет

никакого дела: мы никого знать не будем. Счастье наше будет скрыто от завистливых глаз; мы будем наедине с природой и нашей любовью. Может быть, Бог нам даст детей: жизнь природы, любовь родителей разовьют в них сознание прекрасного и доброго. Потом, на одном из высоких, любимых солнцем холмов придет отдохнуть погоняющий стадо пастух, разглядит нашу скрытую в зелени могилу и скажет невольно: «Они были счастливы». Чего еще требовать от жизни и за чем нам гоняться?

Эдмон говорил, Елена сжимала ему руку и улыбалась. Он будто читал в ее сердце, все его слова были уже ею прочувствованы: мечта сделалась для них действительностью — действительность давала полное счастье.

Наконец, Дево позволил своему пациенту вставать с постели и выходить в залу.

Эдмон вошел, поддерживаемый Еленой и матерью.

Болезнь страшно его изменила.

Он был бледен, как мрамор, щеки его впали, глаза, выдвигавшиеся в худобе лица, блистали новыми задатками жизни, длинные белые волосы были откинута назад; кроткая улыбка, озаряя его бледное лицо, казалось, говорила о его спокойствии и надеждах.

В зале было семейство Мортоня и Густав. Все они встали и вышли навстречу выздоравливающему.

— Мне говорили, полковник, — сказал Эдмон Мортоню, — с каким добрым участием осведомлялись вы обо мне во все время моей болезни; позвольте пожать вам дружески руку.

Полковник с чувством сжал протянутую ему руку Эдмона.

— Вы были так добры, навещали мою мать в тяжелые для нее минуты, — продолжал он, обратившись к г-же де Мортонь и ее дочери, — нетерпеливо жду времени, когда здоровье позволит мне быть вашим частым гостем. Общество больного, конечно, не так весело, но я надеюсь, пока мне нельзя быть у вас, вы нас не забудете и станете навещать часто.

— Ваша магушка была очень встревожена, — сказала г-жа де Мортонь, — я и Лоранса старались, как могли, развлекать ее, но, признаюсь вам, не успевали.

— Теперь, слава Богу, все благополучно кончилось, — сказала г-жа де Пере доктору.

— Будьте покойны, — отвечал Дево, — все идет хорошо.

Эдмон пожал руки ему и Густаву и опустился в большое кресло, на приготовленные матерью подушки.

— Я не помешал ли вашему разговору? — быстро спросил Эдмон.

— Ты не чувствуешь усталости, друг мой? — тихо спросила г-жа де Пере.

— Нет еще, — отвечал, улыбаясь, Эдмон, — я сильнее, чем ты полагаешь.

И он положил руку на колени матери.

— Я рассказывал доктору и вот... г-ну Домону, — начал полковник, — как мы здесь поселились, и ни я, ни жена не могли сказать, почему именно поселились здесь. Причин никаких не нашлось. Просто нам понравился этот маленький домик, и мы в нем остались. Я не люблю долго сидеть на месте, частые передвижения военной службы мне в привычку. Полгода в одном городе — и я уж соскучился, и уж мне нужно уезжать.

Слушая полковника, Эдмон в то же время рассматривал своих новых знакомых.

Пользуясь этим временем, рассмотрим и мы несколько поближе их физиономии.

Полковнику де Мортоню было на вид лет пятьдесят пять. В лице его прежде всего выражался военный характер. Волосы с проседью, длинные усы, открытый взгляд, румяные щеки и блестящие белые зубы. Росту он был высокого. На нем был длинный сюртук, в петличке орден Почетного Легиона. Служака с ног до головы, он был так деликатен, что

никогда не рассказывал ни о своих ранах, ни о походах; а на его лбу виднелся широкий рубец — на месте полковника другой бы пользовался возможностью рассказывать длинную историю.

Г-же де Мортонь было лет сорок восемь, и она уже смотрелась совсем старухой: вязала чулок и носила очки. На ней почти всегда было темно-зеленое платье и чепчик цвета Анжелики. (Мы совсем потеряли из виду Анжелику. Достойная гувернантка, оставшись одна в доме доктора, каждое утро ходила в церковь св. Фомы прочесть молитву о выздоровлении мужа Елены; возвращаясь же домой, по обыкновению засыпала над «Кенильвортским замком»). Должно полагать, что в молодости г-жа де Мортонь была хороша. В ней еще сохранились свежесть лица и белизна рук. Ее полнота ручалась убедительно за ее здоровье и правильный род жизни.

Г-жа де Пере не ошиблась: девица Лоранса де Мортонь была точно очень хороша, и ей было шестнадцать лет. Ее черные волосы вились от природы, большие глаза, до того блестящие и живые, что сразу нельзя рассмотреть, какого они цвета, а они были голубые, смотрели смело, даже несколько дико, что придавало ее красоте восточный характер. Ее рот был, может быть, несоразмерно велик, но зато показывал такие прекрасные зубы, что при них можно было примириться с этим недостатком.

Поэт сравнил бы гибкость ее стана с тростником или пальмой.

Замечу мимоходом: отчего обыкновенно говорят — гибкий, как пальма, когда пальма, напротив, одно из самых негибких деревьев?

На Лорансе Мортонь было черное с закрытым лифом платье.

Она с любопытством рассматривала Эдмона.

Ее сильная натура едва понимала существование слабой, болезненной природы Эдмона.

— Что ж делать, полковник, — заметил Эдмон, когда де Мортонь кончил говорить, — вам придется изменить своим привычкам и остаться здесь несколько долее. Когда доктор позволит мне выходить, мы с вами поостранствуем.

— Мне эти места нравятся; правда, здесь не то чтобы очень весело, но если жена и Лоранса согласны и если мое общество может вам доставить развлечение, — кажется, ничто не мешает нам остаться здесь хоть еще на полгода.

— Конечно, — отвечала г-жа де Мортонь.

Лоранса не отвечала ничего.

— Что это, Густав, с тобою? — тихо сказал Эдмон, наклонясь к уху своего друга.

Густав, точно, сидел неподвижно и будто глубоко задумавшись.

— Что со мной?.. Ничего, — отвечал он. — Я слушаю.

— Тебе скучно, сознайся.

— Мне? Очень весело, напротив.

— А о чем думал теперь? О Париже? О Нишетте?

— Сегодня утром получил от нее письмо.

— Ну, что пишет?

— Хочет приехать сюда.

— Так отчего же не едет?

— Здесь ей будет неловко; будет стеснена.

— Чем?

— Буду отдавать ей много времени; мало останется для тебя.

— Что я хочу сказать тебе...

— Что?

— Отчего ты на ней не женишься?

— На Нишетте? Никогда!

— Отчего же? Ведь ты ее любишь, а она в огонь за тебя готова. Ты знаешь, как смотрит на нее моя мать: она ее уважает, любит почти как дочь. Ты на ней женишься, дашь ей свое имя, и тогда что же ей помешает быть с нами всегда? Посмотри, как мы все будем счастливы. Ты сделаешь счастье доброй девушки, и ведь можно почти наверное сказать, что в самом лучшем кругу, между самыми воспитанными девицами, вряд ли ты сыщешь такое редкое сердце. Слово даю — на твоём месте я бы женился.

— Говоришь сам не знаешь что!

— Так и ты не лишен предрассудков?

— Да, не лишен.

— Напрасно. Однако во всяком случае напиши ей, а будешь писать, скажи, что я ее крепко целую.

Во время этого разговора Дево и де Мортонь уселись за пикет, а г-жа де Пере, подойдя к Лорансе, завела с нею весьма живой разговор.

Не знаю, о чем говорят между собою женщины, но разговор у них постоянно живой, и они всегда найдут о чем говорить.

Густав встал и тоже подошел к Лорансе, но остался стоять.

— Батюшка ваш, вероятно, будет завтра кататься верхом? — спросил он у молодой девушки.

— Вероятно, если не помешает погода. У нас только и есть одно развлечение.

— Я поеду с вами, с его позволения.

— Он будет очень рад. С вами ему можно разговаривать, а со мной ему остается только курить, я дурная собеседница старому солдату.

— Вы лошадей здесь берете? — спросила г-жа де Пере.

— Да, и лошади очень хорошие. У г-на Домона превосходная лошадь.

— Я ее несколько раз предлагал вам, и если вам будет угодно завтра воспользоваться...

— Нет, для меня она слишком горяча...

— Вы очень скромны, а владеете лошастью лучше, чем я.

— Ее отец учил, — вмешалась г-жа де Мортонь, — а ведь он-то какой наездник!

— Как ты себя чувствуешь? — спросила Елена мужа.

— Как нельзя лучше, друг мой. Видишь, какая это приятная жизнь. Проводишь вечера с людьми, которых любишь: чего же желать еще?

— Дай Бог, чтобы ты всегда так думал.

Густав сел возле Лорансы, г-жа де Пере, оставив их, пошла за лекарством сыну.

Когда кончился пикет, полковник взялся за шляпу и собрался уходить.

— Отец, — сказала Лоранса, — г-н Домон спрашивает, будем ли мы завтра кататься верхом?

— Непременно.

— Так в восемь часов я буду у вас, полковник, — сказал Густав.

— В восемь мы будем готовы.

Оба семейства расстались.

Комната Густава была вверху, над Эдмоном; войдя в нее, он отворил окно.

Густав провожал глазами удалявшееся семейство Мортоней; Лоранса шла одна, позади.

Он видел, как она обернулась и взглянула в направлении к дому г-жи де Пере.

Густав затворил окно.

«Нужно написать Нишетте», — сказал он.

И он сел к столу, взял перо, положил перед собою лист бумаги и приготовился писать.

Не поставил он ни одной буквы, а уже голова его склонилась на левую руку, и перо выпало из правой.

Он не знал, как начать письмо, а бывало, не задумавшись, исписывал целый лист.

Или, может быть, он совсем о другом думал.

Через четверть часа, будто поймав мысль, он скоро написал:

*«Милая Нишетта, сегодня утром получил я твое письмо...»*

И остановился опять. На этот раз Густав встал, опять отворил окно и несколько минут глядел на дорогу, по которой удалилось семейство Мортоней.

На дороге не было ни души.

Густав опять сел, перечитал письмо Нишетты, будто надеясь из него выжать материал для своего письма, потом взял перо и продолжал писать:

*«И отвечаю теперь, ночью, после вечера, приятно проведенного в семействе Эдмона. Он сегодня в первый раз встал. Кроме жены его и матери, были у них еще старый господин с женою, одного с ним возраста, — наши ближайшие соседи, навещающие каждый день нашего больного.»*

Случайно или умышленно, не упомянул Густав, что у старого господина с женою, одного с ним возраста, была хорошенькая дочь?

Должно быть, случайно, потому что зачем же Густаву скрывать это от Нишетты?

Когда Густав написал приведенные нами строки, можно было подумать, что он уже более не станет писать, потому что вместо того, чтоб продолжать письмо, он принялся выводить пером по столу разнообразные, не имевшие никакого отношения к Нишетте узоры. Замечательно, что, не умея сосредоточить внимания на письме, он весьма рачительно занялся этим делом и скоро изрисовал значительный участок стола.

Вдруг, быстро стерев свое едва оконченное произведение, он продолжал:

*«Погода стоит здесь прекрасная; я уверен, что в Париже теперь дождь: а у нас все небо усеяно звездами.»*

Очевидно, Густав не думал о содержании своего письма; последние строки он написал, даже не взглянув на бумагу, так только, чтобы что-нибудь написать.

В самом деле, что могло быть интересного для Нишетты в том, что в Париже дождь, а в Ницце небо усеяно звездами? Должно быть, Густав это понял, потому что он тотчас же взял лист бумаги и приготовился писать другое письмо; но на новом листе письмо начиналось уже следующими словами:

*«Не знаю сам, как решился я писать вам...»*

И этими же словами оканчивалось. Густав вскочил с места, сначала скомкал в руках



письмо, потом разорвал его и, бросив в камин, после некоторого молчания, произнес тихо:

— Сумасшедший! Что пришло в голову!..

И вслед за этим, усевшись, он продолжал неоконченное письмо к Нишетте, предварительно прочитав со вниманием написанное прежде и уже забытое им.

*«Об одном только сожалею, милая Нишетта, именно, что тебя нет со мною. А я думаю о тебе каждую секунду; надеюсь, и ты меня не совершенно забыла. Как только Эдмон поправится, я тотчас же в Париж, и ты знаешь сама, кого побегу обнимать первым делом. Тебе, должно быть, скучно, дитя; зима у вас такая холодная! Но утешься! Мы недолго еще будем в разлуке и зато потом не расстанемся.*

*Не пишу много, потому что пора на почту; следующий раз два листа кругом испишу».*

Последние строки Густав написал быстро, решительно, как будто сомневаясь, удастся ли ему написать все это, поразмыслив.

Только как же, сказав в начале письма, что он пишет ночью, Густав написал в конце, что пора на почту?

Это была первая ложь Густава Нишетте, и — кто знает! — одна ли она была в письме?

Природа, всегда и во всем предусмотрительная, дает выздоравливающим нетребовательность и скромность желаний: они ограничиваются дозволенными им, не вредящими лечению удовольствиями и легко примиряются с ними. Многие из нас, пользуясь полным здоровьем, находили смешными незатейливые развлечения после болезни, смеялись даже над ограничивавшимися ими стариками и утверждали, что наши натуры не могут допустить их. Заменявшее постель высокое кресло, посещения людей, которые в обыкновенное время кажутся нестерпимо скучными, легкий разговор без цели и без последствий, солнечный луч, проникающий около полудня в полуотворенное окно спальни, необременительное для желудка легкое мясо за обедом, несколько минут чтения, партия в карты или в шашки, в которой по снисходительности партнера выигрывает обыкновенно больной, — сумма всех этих мелочей дает выздоравливающему занятие, наполняет его время до того, что он просыпается утром почти с целью и всегда имеет в виду провести определенным образом день. Ум, утомленный истощением тела, более ничего не требует и уже потом, с каждым днем набираясь сил, субъект, как говорят врачи, мало-помалу входит в обычную колею и, оглянувшись назад, с изумлением видит время, когда пройти от постели к столу и от стола к постели было предметом его желаний.

Провидение, посылая нам болезнь, предостерегает нас, напоминает о Себе; должно сознаться, человек не много обращает внимания на это предостережение: прошедшие страдания забываются очень скоро. Каждый день слышим мы в разговоре: «Это было три года тому назад, я восемь месяцев пролежал в постели»; и в голосе говорящего эти слова мы не слышим ни малейшего воспоминания о перенесенных им муках.

Болезнь делает человека восприимчивее к впечатлениям всякого рода. Приближая человека к Богу, она возбуждает любовь к созданию. Леса, деревья, цветы представляются выздоровевшему как старые друзья, с которыми он уже потерял надежду когда-нибудь видаться и которые опять, и по-прежнему радушно, его приветствуют.

Со временем эти отрадные впечатления сглаживаются в душе человека, уступая место, как говорится, занятиям более важным, более существенным. А между тем, дойдя до преклонной старости, человек, живший сознательно, вспоминает с умилением минуты своего прошедшего, проведенные лицом к лицу с природой.

Отчего обыкновенно сожалеем мы о детском возрасте? Мы вспоминаем независимость духа в ребенке, способность удовлетворяться наслаждениями, непосредственно предлагаемыми природой; в возрасте позднейшем любовь заслоняет собою все, любовь — этот цветок, который каждый из нас раз в жизни срывает на пути своем и, насладившись или не выдержав его аромата, бросает в грязь, которая не может замарать ни одного лепестка этого небесного растения.

Эдмон подчинился без особенных усилий требованиям своей болезни, тем более что в полном выздоровлении видел задатки своего будущего, которого уже не страшился. Здоровье, чудесно возвращенное ему удачным лечением Дево, разогнало его опасения.

«Если бы я должен был умереть, — думал он, — меня бы уже не существовало».

Но надеяться на продолжительность жизни он еще все как будто бы не решался; он уже был счастлив тем, что видел снова около себя лица, которых боялся уже не увидеть в этом мире. Врач, спасший ему жизнь, его обнадеживал, и он увлекался этой надеждой, не

проникаясь ею.

Так проходило время; с каждым днем наука приобретала новое торжество над болезнью.

Успехи лечения стали заметно обнаруживаться; даже кашель, усилившийся, было, после острой болезни, уменьшался. Дево лечил по методе английского врача Купера, методе новой, в большей части случаев действенной.

Густав жил уже два месяца в Ницце и будто не думал возвратиться в Париж, хотя в письмах Нишетты уже проглядывало беспокойство; хотя положение Эдмона более его не удерживало и г-жа де Пере, зная его привязанность к модистке, несколько раз сама говорила, что возвращает ему свободу и не хочет злоупотреблять его дружбою в ущерб его времени и привычкам.

А Густав по-прежнему оставался в Ницце.

В нем совершался нравственный переворот; рядом с именем Нишетты перед ним вставало другое имя и заслоняло собой прежнюю привязанность.

Трудно изобразить чувства и мысли, волновавшие Густава после его знакомства с семейством Мортоней. Взгляд его на любовь известен читателю: в любви он понимал удовольствие и полагал, что его сердце высказалось вполне в привязанности к хорошенькой, доброй и преданной Нишетте. Новые, несколько смутные желания, внезапно в нем пробудившиеся, его самого изумили.

Он еще не любил Лорансу де Мортонь так, как Нишетту, но чувствовал, что скоро полюбит ее сильнее, и уже не мог уехать, с тем чтобы никогда ее более не видеть.

С другой стороны, представлялась ему безграничная преданность гризетки, вспоминались светлые дни, проведенные с нею, проходила перед глазами она сама, всегда любящая, всегда веселая и резвая, и ему становилось грустно при мысли, что теперь, может быть, слезы туманят ее бойкие глазки.

И ему представлялась картина безотрадной будущности гризетки, покинутой, одинокой, с неизгладимым воспоминанием в сердце.

И прежняя любовь перевешивала возникающие желания.

Перевес этот не долго сохранялся: встречал он на другой день Лорансу, юную, еще никогда не любившую и тонко развитую, и вчерашняя решимость пропадала: бедная Нишетта теряла от сравнения, старая любовь мало-помалу сглаживалась в его сердце.

Еще до знакомства с Лорансой Густав, думая о будущем и никогда не рассчитывая на семейную жизнь, рассуждал, что в случае, если ему придется жениться, он обеспечит будущность Нишетты и дело тем и покончится. Но подобный случай он считал для себя невозможным; мы всегда очень решительно приготавливаем нашу мысль к обстоятельствам жизни, которые считаем невозможными, а когда действительно, наперекор нашим предположениям и ожиданиям, подобные обстоятельства нас окружают, оказывается, что мы очень плохо к ним подготовлены. Густав, рассуждавший так решительно до встречи с Лорансой, теперь задумал жениться, и ему уже казалось, что, обеспечив на всю жизнь Нишетту, он все еще останется у нее в долгу и поступит неловко: тайный голос говорил ему, что никакие деньги не могут заменить утраченную привязанность.

Тогда ему вспоминались слова Эдмона: «Отчего ты не женишься на Нишетте?» — и Густав сам задавал себе вопрос: «Отчего же я не женюсь на ней в самом деле?»

К счастью или к несчастью для Нишетты, вопрос этот вызывал его на размышления, приводившие к окончательной решимости.

«Нишетта любила меня, положим, — думал он, — она очень милая, добрая девушка; но ведь во всяком случае она только модистка, гризетка, с которою я два года коротко знаком. Зачем же, спрашивается, жениться, когда я и так могу продолжать это знакомство? Потом: г-жа де Пере, положим, выше предрассудков и хорошо знает Нишетту: она будет ее принимать у себя в доме, как равную; да разве все общество думает так же, как г-жа де Пере? Разве свет не отвергнет ее? Да и я сам, наконец, если жениться, захочу узнать ее прошедшее. А она уже далека от своего прошедшего, одно воспоминание о нем будет ее мучить...

Нет! Жениться на ней решительно невозможно.

Да и что за галиматъя, наконец: во мне поселилось желание жениться, когда я увидел Лорансу де Мортонь, а я женюсь на Нишетте?»

В этих словах выражалось уже не колебание, а решимость. Густав был между двумя женщинами: одна из них занимала его два года, но занимала не более как гризетка; в нем осталась тихая к ней привязанность, смешанная с сожалением, что ее надобно покинуть; другая — хорошей фамилии, почти ребенок, но уже с прекрасными задатками, прелестная и чистая, как ангел, узнавшая через него первые волнения любви (Лоранса считала уже долгими и томительными часы, проведенные без Густава), девица, с которою свет будет поздравлять его, до руки которой раньше него не прикасался ни один мужчина.

Только сожаление о Нишетте удерживало Густава обратить решение в действие.

«Как сказать об этом бедной Нишетте?..» — думал он.

Тщеславие, разумеется, заходило далее вероятных пределов обыкновенной в таких случаях развязки, и Густав прибавлял:

«Если она вдруг уморит себя?»

Ну, из-за этого еще не умирают, — тотчас же отвечал он, — она меня очень скоро забудет...»

Но уж так создан человек: вместо того чтобы успокоить себя этою мыслью и радоваться, что Нишетта его скоро забудет, Густав огорчился тем, что гризетка может его забыть.

Сердце человека похоже на Дедалов лабиринт: каждая тропинка приводит к Минотавру. Какую бы ни избрал человек в жизни дорогу, перед ним всегда будет его эгоизм, Минотавр, убивающий все очарования жизни.

Густав, разумеется, не стал бы и думать о женитьбе на Лорансе, не имея положительных причин быть уверенным в возможности этой женитьбы.

Лоранса никого еще не любила, он был в этом уверен, потому что имел настолько опытности, чтобы, достигнув короткости в отношениях с молодой девушкой, уметь понимать ее скоро высказывающееся сердце.

Он был уверен также, что если она еще не влюблена в него до беспамятства, то при согласии своего отца и матери, не колеблясь, отдаст ему свою руку.

Несколько раз он очень ловко выведывал, или, лучше сказать, думал, что очень ловко выведывает, намерения полковника в отношении к дочери, и узнал, что де Мортонь вовсе не прочь выдать ее замуж, если она полюбит человека с достаточным состоянием и определенным положением в обществе.

А г-жа де Мортонь думала головою мужа; мы оговорились, что Густав только думал, что ловко выведал намерения полковника, потому что полковник, раньше его выведывания, догадывался сам о его намерениях и частенько говорил о них с женою.

— Г-н Домон прекрасная партия для Лорансы, — отвечала ему обыкновенно жена. —

Впрочем, я еще узнаю о нем от г-жи де Пере, прежде чем решиться.

Родители Лорансы заметили, что Густав ухаживает за их дочерью, чего Густав не замечал сам.

В возникающей страсти влюбленные, не смея еще выразить состояния своей души словами, не могут удержать требующие исхода чувства, которые против их воли говорят в их взглядах то, чего еще не произносил их язык.

Взгляды эти всегда замечаются родителями, зрение которых в этом отношении чрезвычайно развито.

Разговаривая с Лорансой о болезни Эдмона или о погоде, Густав в то же время глазами говорил ей, что ее любит.

Стало быть, очень неудивительно, что г-жа де. Мортонь спросила однажды у г-жи де Пере:

— Что, Домон друг вашего сына?

— Товарищ по коллегии, — отвечала г-жа де Пере.

— Он хорошей фамилии?

— Фамилия известная.

— Родители его живы?

— Нет, он сирота.

— Имеет состояние?

— Около двадцати тысяч годового дохода, состояние порядочное.

— Какого он характера? После вам скажу, зачем спрашиваю.

— Характера, как вы видите: добрый и благородный человек; я люблю его почти столько же, сколько Эдмона, стало быть, он этого стоит.

— Благодарю вас, я и мужу так передам.

— Что ж это значит?

— А то, что Домон ухаживает за Лорансой, она уже на возрасте; он ей тоже, кажется, нравится. Одним словом, я была бы счастлива, если бы этот брак состоялся. Это бы нас сблизило еще более, так как Домон друг вашего сына.

— А! Так он ухаживает за Лорансой! — заметила г-жа де Пере.

— А что? Вы так говорите, как будто находите препятствие.

— Препятствия нет никакого, — отвечала г-жа де Пере, — но мне странно, что я этого не заметила сама.

— А как это заметно! Разумеется, вы не заметили потому, что у вас болен сын и все ваше внимание сосредоточено на нем.

— Это правда. Что ж, хотите, я переговорю с Густавом?

— Очень хорошо сделаете. Узнайте, что он думает, и, если заметите, что я не ошиблась, скажите, что муж мой и я, мы не откажем, если он сделает предложение. Если они любят друг друга — и слава Богу.

— Конечно, конечно. Я переговорю с ним сегодня же. Со мною он откровенен, как с матерью.

Нет надобности объяснять, почему г-жа де Пере была удивлена словами г-жи де Мортонь. Она тотчас же вспомнила Нишетту и невольно пожалела о ней.

В тот же вечер, отведя Густава в сторону, она сказала ему:

— Мне с вами нужно поговорить, и об деле важном.

— Что вам угодно? Я слушаю.

— Вы любите Лорансу де Мортонь, — продолжала она, по обыкновению прямо и открыто приступая к делу.

— Вы угадали, — отвечал Густав, покраснев.

— Угадала не я, а г-жа де Мортонь; она заметила...

— И она говорила вам?

— Да, говорила сейчас.

— Что ж она говорила?

— Что обыкновенно говорят матери. Расспрашивала о вас; я, разумеется, не могла сказать ничего, кроме хорошего, ну и она сказала, что в случае если вы сделаете предложение, вам не откажут.

— Как я вам благодарен! — сказал Густав, взяв ее руку.

— Если хотите, я буду в этом деле посредницей.

— Вы, как сына, меня любите.

— Вы любите Эдмона, как брата. Теперь вот что: согласны принять от меня совет?

— Прошу вас и говорю заранее, что последую вашему совету.

— Я бы на вашем месте съездила в Париж, прежде чем решиться.

Густав понял, к чему клонился совет, и потупился.

— Я поеду, — сказал он.

— Вы проверите там свои чувства и определите их настоящее значение. Может быть, возвратившись к рассеянной парижской жизни, увидев другие лица, припомнив другие привязанности, вы заметите, что в вашем сердце корни новой любви вовсе не так глубоки. Не забудьте, что во все время вашего пребывания здесь Лоранса одна девушка, которую вы видели. Вы здесь немного скучали и потому, очень естественно, ваше воображение обратилось к ней, но вы очень скоро можете заметить, что увлеклись первым впечатлением. Браком шутить нельзя — счастье Эдмона вам доказательство. Прежде чем решиться, убедитесь, что ваше сердце признает необходимость этого брака для его счастья и что старые привязанности в нем изгладились совершенно.

Последние слова были произнесены с особенным ударением, которое Густав не мог не заметить и не мог не поблагодарить мысленно за прямой совет, скрывавшийся в этих словах.

— Потом, — продолжала г-жа де Пере, — все ваши бумаги в Париже. Когда вы воротитесь, привезете их сюда — все препятствия будут устранены.

— Как вы все видите, — сказал Густав, — и как я вам за все это благодарен!

— Стало быть, вы меня поняли. Будем помнить, кого мы любили прежде. Если вы и в Париже найдете, что ваше счастье зависит от Лорансы — это будет последнею радостью сердца, которое, может быть, теперь ноет в разлуке с вами... Уезжайте завтра же утром. В месяц вы можете решиться. Перед тем чтоб ехать сюда, если не останетесь в Париже совсем, напишите мне, и к вашему приезду ваша свадьба с Лорансой будет решена. Я так говорю?

— Вы все видите! Не завидую Эдмону, что у него такая мать, только потому, что вы и так для меня много делаете.

Мнение г-жи де Пере было так основательно обдуманно, что Густав пришел от него в восторг. В самом деле, оно клало конец недоумениям Густава и придавало положительное значение его решимости.

В Ницце Густав боялся оставить Лорансу и снова увидеть Нишетту; следовало узнать, решится ли он по приезде в Париж оставить Нишетту и возвратиться к Лорансе; старая или новая любовь пересилит?

Участь троих зависела от решения этого вопроса.

Зайдя к себе, чтобы подготовиться к дороге, Густав прежде всего вздумал подарить Нишетте лишнюю, хотя и обманчивую, радость. Он написал ей письмо:

*«Когда ты получишь эти строки, я уже буду от тебя близко. Часов через пять мы увидимся».*

Он зашел проститься к Мортоням.

— Вы к нам воротитесь? — спросил полковник.

— Думаю, даже очень скоро.

Муж и жена обменялись значительными взглядами.

Сердце Лорансы сильно забилося.

— Я вас, вероятно, найду еще здесь по возвращении? — спросил Густав.

Прощаясь с Лорансой, Густав легко пожал ее руки и почувствовал, что она ему отвечала тем же.

— Отчего г-н Домон уезжает? — спросила она у матери, когда Густава уже не было в комнате.

— Потому что он хочет жениться, я полагаю, — отвечала г-жа де Мортонь, которой г-жа де Пере передала часть своего разговора с Густавом и уверила в необходимости привести в порядок его дела.

Слова г-жи де Мортонь сопровождались нежным взглядом на дочь.

— Маменька!.. — вскрикнула Лоранса, стремительно бросившись обнимать ее.

— Так ты его очень любишь?

— Люблю.

— Через несколько дней тебе можно будет ему сказать это.

С отъездом Густава в Ницце в обоих семействах все пошло своим установленным тихим порядком.

Эдмон поправлялся как нельзя лучше.

Через четыре дня Густав был уже в Париже, на улице Годо. Нишетта, увидев его еще в окно, бросилась обнимать его и, плача от радости, долго не могла заговорить и собраться с мыслями.

Неделю назад Густаву казалось невозможным расстаться с Лорансой. Первый поцелуй Нишетты убедил его, что он не выедет из Парижа.

Пусть истолкователи человеческого сердца объяснят это; мое дело — рассказывать.

Все было по-прежнему в маленькой комнатке Нишетты, Густав чувствовал, что кресло у окна, в котором застал он гризетку, не покидалось ею в течение двух долгих месяцев ожидания.

Все до такой степени было согласно с его воспоминаниями минувших счастливых лет, что время, проведенное им в Ницце, показалось ему мимолетным сном: он будто вчера еще был в этой комнатке.

— Наконец приехал! — воскликнула молодая девушка, взяв его за руки и смотря на него. — Как я рада! Я уж боялась, что не увижусь с тобой!

Счастливая возвращением Густава, она уже смеялась над своими страданиями в его отсутствие.

— Я не мог же так скоро бросить Эдмона, дитя мое, — отвечал Густав. — Ты бы знала, как он был болен!

— Ну, теперь его совсем вылечили?

— Можно, по крайней мере, надеяться.

— Мне было так жаль его! Каждый день я молилась за вас обоих.

— К моему приезду, я думаю, он уже будет совсем здоров.

— А ты... разве опять уедешь?

— Я обещал г-же де Пере и Эдмону.

— Поезжай, — тихо сказала Нишетта, и в ее голосе слышалось столько грустной покорности и невольно пробивавшегося страдания, что Густав опять усомнился, придется ли ему вернуться в Ниццу.

Тем не менее, думая несколько приготовить ее к возможности новой разлуки, он спросил, будто бы ничего не замечая:

— А что?

— Ничего. Нет десяти минут, как приехал, еще не снял пальто, а уже говорит, что уедет!

— Успокойся, мы еще две недели пробудем вместе.

— Только две недели!

— Может быть, даже три.

— Как, однако, ты любишь Эдмона! — сказала гризетка, посмотрев на него недоверчиво.

— Ты знаешь, что мы с ним друзья. Он едва отпустил меня, но я сказал, что не могу: я непременно хотел тебя видеть.

— Точно хотел?

— Разве я тебе когда-нибудь лгал?

— А я, признаюсь, боялась, думала Бог весть что! — говорила гризетка, снимая с Густава пальто и кладя его вместе с дорожною фуражкой на постель.

— Чего ж ты боялась, ребенок?

— Думала, что ты уж меня не любишь и занят другою.

— Кем же? — вскрикнул Густав, думая скрыть выступившую на лице его краску.

— Кем! Другою... мало ли женщин!..

— Ну а теперь ты успокоилась?

— Конечно... потому что ты здесь... а все-таки...



— Что все-таки?

— Все-таки боюсь, что ты не для Эдмона хочешь опять ехать.

— К чему ж бы я тогда приехал сюда?

— Так, ты подумал: «Эта бедная девушка теперь тоскует в Париже, повидать разве ее?..»

А может быть, и та уехала — ты и воротился сюда. Разве не может быть?

Женщины обладают даром предчувствия, и предчувствия редко их обманывают.

Разговор этот был в тягость Густаву.

— Ты не знаешь сама, что говоришь, — сказал он.

— Пойдем завтракать, — перебила она.

Стол уже был накрыт и все приготовлено. Бедная девушка знала, что Густав придет усталый и голодный, ждала его, приготовилась...

— А я тебе скажу, — продолжала Нишетта, сев возле своего дорогого гостя, — не полюбит она тебя так, как я.

Замечание это было отчасти доказано немедленно последовавшим за ним поцелуем.

Густаву стало так хорошо после дороги, бывшие привычки обступили его с такой увлекающей силой, что образ Лорансы еще не смущал его воображения.

Да и Нишетта, точно, была увлекательно хороша. Для дорогого гостя она облеклась во всеоружие тонко рассчитанного кокетства, кокетства, для которого требуется ум и некоторое понимание сердца мужчины. В прическе, в простеньком, незатейливом чепчике, в фасоне платья было что-то новое, напоминавшее былое, и в то же время соблазнительно неотразимо. Это была хорошо известная Густаву Нишетта и что-то еще, прежде им не замеченное.

Может быть, это «что-то» были два месяца разлуки; время дает человеку много новых очарований.

За завтраком Густав рассказывал о простом образе жизни в Ницце, умалчивая о минутах, проведенных с Лорансой, и о прогулках с нею и ее отцом.

Нишетта рассказывала про свою жизнь в его отсутствие: рассказ ее был немногосложен... Сначала она много и долго плакала и две недели не выходила из дома, потом встретила как-то свою старую приятельницу, подругу по магазину. Подруга эта получила недавно наследство и намеревалась ехать в Тур, чтобы там открыть свой магазин.

До отъезда Шарлотты Туссен Нишетта была неразлучно с нею; подруга уговаривала ее оставить Париж и ехать вместе с нею, представляя могущие от этого произойти значительные выгоды, но Нишетта не соглашалась; и, проводив приятельницу недели за полторы до приезда Густава, осталась опять совершенно одна.

— Теперь, — сказала Нишетта, когда Густав позавтракал, — тебе надобно отдохнуть, ты устал.

— Да, я пойду домой, — отвечал Густав.

— Зачем? Ложись на мою постель; ты уснешь, я в это время буду работать или читать.

Густав повиновался и лег на постель гризетки... Через час он уже спал крепким сном, сном после дороги и свидания с любимой женщиной.

Нишетта поправила волосы и села с книгою в руке перед камином: но спящий Густав занимал ее более, чем попавшийся ей роман.

Густав проснулся в семь часов вечера.

Покрытая абажуром лампа сообщала приятный полусвет комнате; Нишетта сидела у стола за работой, положив маленькие ножки на стоявший перед камином стул.

Густав несколько времени любовался открывшейся перед ним картиной, в которой художнику нечего было прибавить.

«Вот мое прошедшее, — думал он, — должен ли я продолжать его? Девочка эта меня любит, при одном моем движении все ее существо готово отдаться мне; она бросится ко мне на шею, скажи я только одно слово. Да к чему поведет нас все это — и меня и ее? Оба мы состаримся; желанья наши изменятся. Оба мы бессемейные, бездомные: будет ли нам довольно нашей привязанности в возрасте, когда у других есть дети, семейство?.. Будем ли мы по-прежнему любить друг друга? Старееет жена — мы смотрим равнодушно, но не можем видеть равнодушно стареющую любовницу. Разные привязанности — разные чувства!..»

Так думал Густав, и через неделю по своем приезде он почти убедился, что уедет, и уже сожалел, что обещал Нишетте провести с нею три недели.

Читатели не станут его обвинять в неблагодарности; он делал так, как бы всякий на его месте делал: такова натура человека.

Нишетта была очень хорошенькая; Густав чувствовал при ней приятное волнение, за удовлетворением которого не оставалось уже ничего. Это была женщина, лицо которой ему понравилось и сразу пробудило в нем страсть, она отдалась ему легко; он нашел в ней душевные качества, которых и не думал отыскать, она развлекала его ум, говорила сердцу, льстила тщеславию; не видя других женщин или за неимением лучшей, он бы долго ее еще не оставил; но поставленная в параллель с прекрасной, невинной девицей, которая может отдаться любимому человеку, только сделавшись его женою, ум и сердце которой возвышены образованием, которая прельщала уже своей недоступностью и заманивала воображение неизведанным, — Нишетта теряла от этого сравнения. И кто на месте Густава, прожив два года с одною из этих женщин, не предпочел бы ей другую, обещавшую впереди еще много счастливых, упоительных дней?

Это тяжело, грустно для покидаемой женщины, но так бывает почти всегда; большинство молодых людей переживают подобные минуты и выходят из них с решимостью Густава; и весьма многие из оставленных женщин утешаются скоро и даже, припоминая свое прошедшее, говорят иногда:

«Может быть, это и к лучшему».

Есть, впрочем, в любви к этим оставляемым женщинам минуты, которых не может доставить любовь возникающая, особенно если женщина так хороша, так еще полна молодости и силы, как Нишетта. Но за этими минутами неминуемо следует утомление; сердце им пользуется и проникается мечтой и обещаниями иной любви. Тогда человек решительно отдает преимущество надеждам последней любви над уже изведанными наслаждениями первой.

Кому не случалось, обнимая женщину, думать в то же время о другой? Эгоизм человеческого сердца сильнее эгоизма ума. Были иногда минуты, в которые Нишетта отдавалась Густаву со всею доверчивостью беспредельно страстной любви, а Густав в то же время воображал, что ласкает и целует Лорансу.

Тогда его ласки были обаятельнее, поцелуи его были жарче, и бедной Нишетте казалось, что Густав еще никогда не любил ее так страстно.

А как бы она заплакала, если бы могла понять свое положение в эти минуты!

С приближением необходимости покинуть Нишетту навсегда воспоминания прошлого ярче и увлекательнее проносились перед Густавом и, казалось, говорили ему: «Останься с нами».

Раз, когда он пришел к гризетке, ее не было дома. Он однако вошел и, усевшись ждать, стал рассматривать ее маленькую комнатку. В ней так много было его подарков, и с каждым из них связывалось воспоминание.

«Бедное дитя, — думал он, рассматривая статуэтки и недорогие картины, которыми он сам украсил ее комнату, — как она дорожит всеми моими подарками! Вот эти золотые безделки; только их она и согласилась принять и для меня только их надевает. Вот мой портрет: она повесила его над своею постелью, за занавесками, боясь меня скомпрометировать перед теми, кто иногда к ней заходит. Добрая Нишетта! Теперь ей все это улыбается — придет время, она будет плакать над каждою из этих вещей, каждая из них ей напомнит человека, ее покинувшего и полюбившего другую. Еще страшнее при них будет ее одиночество: всегда перед глазами, они не позволят требовать от другого то, чего не могла она найти во мне».

Поддавшись этим размышлениям, Густав будто искал в своем сердце опоры для поддержания падающей любви; но таинственная, многообещающая будущность, заключенная для него в одном слове «Лоранса», охватывала его вдруг, и он быстро вставал, будто тотчас же собираясь уехать.

Тогда он выронил последние слезы о Нишетте: так над трупом ребенка плачет мать, в то же время улыбаясь другому ребенку, который впоследствии совершенно утешит ее в потере первого.

Когда Нишетта вошла, он сидел посреди ее комнаты с заплаканными глазами. Она тихо подкралась и положила к нему на плечо свою хорошенькую головку.

Густав оглянулся. Улыбка и поцелуй гризетки его приветствовали.

— Что с тобой? — спросила она, потому что его волнение было слишком заметно.

— Ничего, моя добренькая, — отвечал он, взяв ее к себе на руки, — взгрустнулось, что должен тебя оставить.

— Так ты решительно едешь?

— Да.

— Верно, получил из Ниццы письмо?

— Да, получил сегодня.

— Что же? Эдмону хуже?

— Нет, но поправляется плохо; хочет непременно, чтоб я был с ним. Нельзя же отказать больному.

— Густав?.. — умоляющим голосом сказала Нишетта.

— Что, друг мой?

— У меня есть до тебя просьба; если ты меня любишь, так сделаешь.

— Скажи, какая просьба.

— Ты не сделаешь.

— Отчего же? Скажи, если это только возможно...

— Еще бы не возможно! Это так легко.

— Так говори же.

— Возьми меня в Ниццу.

— Друг мой, ведь ты мне об этом писала, и я уже тебе объяснил, почему не могу.

— Так не возьмешь?

— Нет... — отвечал, запинаясь, Домон, — не могу.

— Я бы жила там особенно, — продолжала она, полагая, что убедит этим последним

доводом Густава; но Домон молчал.

В этом молчании Нишетта видела возможность его согласия.

— Я там найму себе маленькую комнатку, — продолжала она, увлекаясь. — Никто не будет знать, что я там, ни Эдмон, ни г-жа де Пере. Ты ко мне зайдешь иногда, так, попозже, когда совсем стемнеет и никого не будет на улице. Я уж и этим буду счастлива, а в Париже мне скучно, скучно... тебя нет со мной, и я сойду с ума.

— Да ведь я же вернусь, Нишетта, — отвечал Густав, — и уж тогда мы более не расстанемся.

— Как хочешь. Я не поеду без твоего согласия, — отвечала гризетка, отирая слезы. — Ты когда ж едешь?

— Дней через пять.

— А мне можно проводить тебя до Шалона? Все-таки буду дольше с тобой.

— Вот это умно. Это другое дело. Поедем, — отвечал Густав, внутренне довольный, что хоть какую-нибудь радость может еще подарить ей.

— Какой ты добрый! — сказала она, страстно его обнимая.

Обрадованная, гризетка чуть не прыгала от радости.

После поездки в Ниццу Густав был для Нишетты то же, что отец для ребенка, которого хочет отдать в школу, куда не хочется маленькому шалуну. Он считал себя счастливым, если мог доставить ей хоть ничтожное удовольствие.

«Все-таки она порассеется», — думал он.

Вслед за этим Густав получил от Эдмона письмо.

Читатель, вероятно, уже догадался, что письмо, о котором Домон упоминал в разговоре с Нишеттой, было только предлогом к отъезду, в самом же деле он не получал никакого письма.

Вот что писал Эдмон в письме, действительно присланном:

*«Я еще, мой друг, очень слаб, но, авось, хватит силы написать тебе несколько строк. Прежде всего о себе, чтобы уже более не возвращаться: мне несколько лучше, и, вообще, кажется, шансы выздоровления увеличиваются.*

*Мать мне передала твой разговор с нею и настоящую причину твоего отъезда. Я вспомнил тотчас же о нашей доброй Нишетте, вспомнил, какие мы приятные дни проводили с нею. А потом, хорошенько подумав, и так как ты, полагаю, должен скоро вернуться, если только вернешься, решил дать тебе свой совет. Ты знаешь, что я душевно люблю Нишетту, но также знаешь и то, что тебя я люблю больше, и это очень естественно. Вот почему, не колеблясь нисколько, я решил дать тебе совет, в котором, по моему мнению, твое счастье, как бы он ни огорчил Нишетту... Твое счастье прежде всего. А счастье твое, друг Густав, в руках Лорансы де Мортонь. Я тебе обязан Еленой, ты Лорансою будешь обязан не мне, но я исполню свой долг, выведя тебя из нерешительности, если ты все еще не решился.*

*Прежде всего, она тебя любит, и сколько я заметил из разговоров с нею о тебе, любит сильно; это в ее каждом слове так и просвечивает. А где любовь, там и счастье. Родители ее люди прекрасные и будут, как сына, любить тебя. А где родство, семейство — там счастье... Потом, Лоранса ангел красоты и невинности; это чистая, нетронутая душа; тебе предстоит ее возделывать...*

*Это, Густав, счастье, потому что здесь религия, невинность, будущность.*

*Женись на Лорансе де Мортонь.*

*Но не забудь выплатить честно свой долг Нишетте. На твоём месте я бы на словах все сказал ей, а ведь ты — я почти уверен — думаешь написать ей отсюда. Она девушка умная; она сама внутренне понимает, что связь ваша вечно не может продолжаться, и мне кажется, будет тебе благодарна за уверенность в ней и в любви её, если ты объяснишь ей откровенно свое положение.*

*Мне незачем говорить, чтобы ты обеспечил её будущность: ты это и без моего совета сделаешь; но постарайся так обеспечить, чтоб в этой будущности было ей рассеяние и занятие. Купи ей небольшой магазин; кроме того, положи в банк на её имя сумму, которая могла бы ей быть действительным пособием, если дела её дурно пойдут в магазине. Больной, ты сам знаешь, имеет право говорить, как старик; я почти все это рассказал Лорансе. Она удивлялась, отчего ты так долго не едешь — да и точно, чтобы захватить бумаги, месяца очень много — и я сказал, что ты теперь, верно, все устраиваешь так, как я написал выше. Она тебя превозносила за это, говорила, что ты поступаешь благородно, как следует честному человеку. Разумеется, я бы ей не рассказывал, если бы заранее не был уверен в её мнении.*

*Но, во всяком случае, делай дело скорей и возвращайся. Она теперь думает, что тебя задерживает будущность Нишетты, а не привязанность к ней, а засидишься ещё, так, пожалуй, в ней и сомнение поселится. Очень молодые девушки удивительно проницательны и понимают все тонкости любви лучше нас».*

Письмо это разогнало последние сомнения Густава, но он все не решался объявить Нишетте о своей женитьбе и положил отдалить, насколько возможно, критическую минуту. Его удерживала оставшаяся к гризетке привязанность, и ему не хотелось отравить её последнее удовольствие провожать его до Шалона.

«Нет, — думал он, — пусть она это узнает, когда уж я буду далеко. Не хочу, чтобы к её воспоминаниям о последних проведенных со мною днях примешивалось тяжелое чувство. Пусть поймет мою боязнь огорчить её, пусть увидит в ней последний залог любви. Объявить дурную новость никогда не поздно; да и почему я знаю: может быть, её страдания, слезы удержат меня?.. А мое счастье там — Эдмон прав — я чувствую, что уж теперь там мое сердце».

Бывают положения, которых никак нельзя выразить женщине, оставляемой для другой, потому что в любви нет выражений, неточных или смягчающих горечь мысли, — а между тем, самое положение требует исхода.

Когда любившие друг друга могут быть вместе и не возбуждается в них ничего, кроме тихих воспоминаний прошедшего, когда, разобрав свое сердце, мы в нем не находим любви к женщине, некогда её нам внушавшей, и сознаем, что любим другую, — если бы можно было ясно очертить ей состояние своего сердца, незаметно, нечувствительно довести её сердце до умеренной температуры кроткой, ощущаемой к ней привязанности и обратить остающуюся в ней любовь в дружбу честную и преданную — как бы от этого выросла нравственная сторона человека! Такие признания, к несчастью, возможны только с немногими, исключительно развитыми натурами; прежде всего самолюбие и потом рассудок дают им силу затаить свое

горе и потом разом дунуть на свое прошедшее.

С Нишеттою это было невозможно: она бы разразилась рыданиями и упала на колени перед Густавом.

А необходимо было покончить.

Густав написал г-же де Пере, что на другой день после получения ею письма он уже будет в Ницце. Это значило, по заключенному между ними условию: «Я прошу руки Лорансы де Мортонь».

В тот же вечер он выехал вместе с Нишеттой в Шалон.

Гризетка была в восхищении. До сих пор она никуда не выезжала из Парижа. Все ее занимало. Бедняжка не знала цели путешествия, начатого так весело.

В Шалон они приехали в шесть часов утра.

Пароход отправлялся в Лион в двенадцать.

Нишетта, всю дорогу заставлявшая Густава повторять, что он ненадолго с ней расстанется, была весела все время.

Пока перенесли с берега и укладывали вещи пассажиров, она оставалась на пароходе.

Дали сигнал отплытия.

Нишетта обняла Густава и сошла на берег. Домон, чтобы дольше ее видеть, оставался на палубе. Пароход удалялся.

Чтобы не опечалить Густава, Нишетта закричала, улыбаясь:

— До скорого свидания — да?

Густав утвердительно кивнул головой вместо ответа: он чувствовал, что если бы захотел говорить, слезы покрыли бы его голос.

Нишетта долго еще махала платком и потом долго смотрела вслед удалявшемуся пароходу. Густав уже ее не видел: она уже для него смешивалась с чуть видимыми людьми и предметами берега.

— Плакать нечего! — сказала себе Нишетта, отирая обильно струившиеся по ее лицу слезы. — Он скоро вернется.

Пароход был уже на повороте реки и скоро скрылся из вида.

Цель пишущего эту книгу — указать и, если можно, извинить нравственные изменения, производимые в человеке временем и влиянием общества и почти всегда разрушающие в нем первоначальные, готовые убеждения и построенные в молодости надежды. Такого рода нравственное изменение происходило в Густаве. Он, полагавший прежде, что вся его жизнь может пройти под известными, им самим составленными условиями, теперь сознавал неотразимое влияние условий общественной жизни, направляющее, в известные периоды жизни, мысль и сердце человека к иным целям, к иному горизонту.

Счастье Эдмона впервые показало ему новый для него мир. Густав сознавал тогда, что его друг должен умереть в ранней молодости, и вместе с тем не мог не согласиться, что при жизни Эдмон досыта насладится радостями, ему неизвестными и представлявшимися его воображению под самыми обольстительными формами, так как радости эти самые чистые на земле.

Так, размышления развивались в нем еще в Париже, в первое время после отъезда Эдмона в Ниццу; письмо последнего, рисуя ему подробности заповедного счастья, поселило в его душе первые, еще смутные и неопределенные желания; случай должен был дать им и смысл, и значение. По приезде в Ниццу Густав встретил случайно Лорансу — и вот новая будущность приняла для него определенную цель.

Не всегда, даже очень редко нравственные изменения приводят человека к таким счастливым последствиям, к каким привели Густава. Это зависит от того, как были проведены в свете первые годы. Мы сплошь и рядом видим, как люди самого неприличного и беспорядочного образа жизни становятся образцовыми мужьями и как, наоборот, люди, твердившие в молодости о правилах и даже не изменявшие своим правилам в холостой жизни, сделавшись мужьями, предаются долго дремавшим страстям со всею необузданностью порока.

Мы хотели изобразить не колебания, а тонкую совесть сердца Густава, потому что сердце его уже не колебалось между Нишеттой и Лорансой. Он только спрашивал себя: имеет ли он право поступить так, как намеревался? Иногда даже дурные инстинкты (дурные инстинкты никогда в человеке не дремлют, в решительных случаях жизни они возвышают свой голос и, всегда опираясь на материальную сторону факта, могут на некоторое время, если даже не навсегда, убедить его резкою, беспощадною положительностью своих приговоров) шептали ему, что ведь, собственно-то говоря, с Нишеттою нечего долго церемониться, что другие не стали бы даже и думать об этом; что, во всяком случае, она должна быть довольна и тем, что для нее еще делают, и что, обеспечивая ее будущность, он делает больше, чем бы она могла ожидать. Густав отгонял подобные размышления, стыдился их, но они беспрестанно к нему возвращались и увлекали его. Кончилось тем, что и они, против воли Густава, попали на весы, как фальшивая гиря, и глубоко перевесили последние притязания совестливости. Человеку весьма трудно забыть то, что его оправдывает в его глазах, или отогнать от себя какие бы то ни было мысли, если они согласуются с его намерениями и действиями.

Впрочем, значение Нишетты в его жизни было действительно велико и благотворно, и он должен был искать извинений своему поступку, чтобы не быть к ней неблагодарным.

Извинение отыскивалось скоро. Вспомнил он, сколько его приятелей были в подобном

положении — и что ж они сделали? Густав, с некоторою гордостью, замечал, что они далеко не церемонились так, как он, а не говорят же о них ничего дурного!

Размышления эти занимали Густава от Шалона до Ниццы, так что когда он подъехал к дому Эдмона, сердце его билось исключительно надеждой, успевшей уже вытеснить из него последние сожаления.

Все были в зале, также как и при его отъезде. Он был принят, по обыкновению, радушно.

Эдмон начинал уже ходить и приветствовал Густава дружескими объятиями. Домон поцеловал руку у Елены и пожал протянутую ему руку г-жи де Пере. Лоранса де Мортонь покраснела и опустила глаза. Полковник, его жена и Дево весело улыбались.

— Ну, дорогой мой Густав, — сказал де Мортонь, подводя молодого человека к дочери, — теперь обнимите вашу жену.

Густав взял Лорансу за обе руки и поцеловал ее в лоб.

— Вы больше не думаете о Париже? — чуть слышно спросила она.

— Можете ли вы об этом спрашивать?

— Вы мне клянетесь?

— Клянусь!

— И вы теперь счастливы?

— Так счастлив, что не нахожу слов...

— Помнишь, — сказал де Мортонь, — как твой отец так же вот нас соединил назад тому двадцать два года?

— Дай Бог, чтобы и она могла это вспомнить через столько же лет, — отвечала г-жа де Мортонь, смотря с нежностью на помолвленных.

— Я вами довольна, — сказала г-жа де Пере, протянув руку Домону.

— Прекрасно сделал, — шепнул ему Эдмон.

Странное дело! В такую радостную минуту Густав почувствовал, будто его сердце сжалось оттого, что ни Эдмон, ни г-жа де Пере не вспомнили про Нишетту, которая, может быть, в эту самую минуту уже писала ему, как она скучает в Париже и как нетерпеливо ждет его возвращения.

Бедная Нишетта!

— Густав, вы видите, я сдержала слово, — сказала г-жа де Пере.

— А свадьба скоро будет? — нерешительно вымолвила Лоранса и тотчас же скрыла лицо свое на груди матери.

— Тотчас, как твоему шаферу позволено будет выходить.

— То есть через неделю, — решил Дево. — В церковь он может съездить, а потом еще два месяца придется не выходить из дома.

— Что, вы надеетесь? — тихо спросил Густав доктора.

— Идет хорошо.

— Теперь, Густав, отдохните, — сказала г-жа де Пере. — Нечего желать вам приятного сна после дороги и радости.

Густав вошел в свою комнату и, будто желая отделаться раз навсегда от последних, смущавших его воспоминаний, сказал: «Теперь все кончено. Нет возврата».

И через несколько минут он уже спал так же спокойно, как по приезде в Париж у Нишетты.

Вот человеческая натура!



Было уже далеко за полдень, когда он проснулся. Он приподнял занавеску окна: Лоранса рука об руку с Еленой ходила по саду.

Молодая девушка, вероятно, поверяла свои чувства молодой женщине. Невидимый из сада, Густав почти четверть часа любовался ими.

«Как хороша!..» — вырвалось у него невольно.

Перебирая вещи в своем дорожном мешке, Густав нашел остатки провизии, которую Нишетта заставила его взять на дорогу. Черствые пирожки, булки заставили его задуматься...

Пробило четыре часа. Густав провел по лицу рукою.

«Еще два часа до обеда, — подумал он, — я успею написать Нишетте; нужно сегодня же кончить».

И он сел к столу, но не скоро мог придумать, как начать это трудное письмо.

Вот его последнее письмо к гризетке:

*«Милая Нишетта, я ездил в Париж с целью открыть тебе там свое намерение, но не имел духу объяснить с тобою. Ты была так счастлива — я не мог. Теперь разделяющее нас расстояние придало мне силы.*

*Мы не должны более видеться, дитя мое. Покоримся требованиям жизни. Для меня, для тебя самой — нам необходимо было когда-нибудь кончить. Твое простое, неиспорченное сердце, может быть, мечтало о вечности — вечность на земле не дана человеку, Нишетта...*

*Мог бы я тебя обмануть, сказать, что я по обстоятельствам должен оставить Францию, но я предпочел быть с тобой откровенным — сердце твое достойно откровенности.*

*Я женюсь, Нишетта...*

*Это должно было случиться — рано или поздно. Нужно семейство, одинокому тяжело на земле... И кто знает, не лучше ли, что мы расстаемся теперь; может быть, впоследствии, нам бы не пришлось расстаться без сожалений... Вспомни, ты сама часто мне говорила, что я, может быть, женюсь, и всегда говорила, что покоришься необходимости моего положения. Простишь ли ты мне теперь, когда я оправдал твои предчувствия?»*

Густав с трудом подбирал слова для извинения своего поступка; он понимал, что, какие бы убедительные доводы ни привел он, он все-таки оставался неправ в глазах покидаемой женщины.

Дойдя до последней, приведенной нами строчки письма и вполне сознавая бесполезность слов, он круто повернул к сделанным им для обеспечения будущности Нишетты распоряжениям. Ему справедливо казалось, что если он не придаст этой разлуке большего значения, то и гризетка легче перенесет ее.

*«Но я хочу, чтобы ты была счастлива, и придумал, как тебе теперь устроиться. Ты молода, хороша — будущность вся перед тобою. Найдется честный человек, который оценит твое сердце и не спросит отчета в твоём прошедшем. Для этого тебе нужна только независимость положения.*

*Вот так я распорядился, Нишетта. Нотариус мой принесет тебе билет на*

*получение двух тысяч пятисот франков процентов ежегодно, кроме того, десять тысяч франков на первоначальное обзаведение. С этими деньгами я тебе советую войти в долю к твоей подруге Шарлотте Гуссен. Если когда-нибудь этого окажется мало, я надеюсь, что ты не обратишься ни к кому, кроме меня. Сначала это письмо огорчит тебя, потому что ты любишь меня — я знаю; перенеси это испытание, и я убежден: еще будут счастливые дни в твоей жизни.*

*Ты мне напишешь, Нишетта? Напиши только, что прощаешь меня и принимаешь то, что я тебе предлагаю в воспоминание нашей доброй любви. Может быть, я еще буду несчастен; я к тебе же тогда приду искать утешения.*

*Прощай, прощай, доброе дитя. Крепко целую тебя. Помни, что у тебя остается друг, вечно тебе преданный, что он любит тебя и уважает твое достойное сердце.*

*Густав Домон».*

Несколько раз слезы Густава падали на бумагу, но он не хотел писать все, что чувствовал. Сдержанность эта понятна. Нужно было нанести решительный удар, который сразу отрезил бы Нишетту от ее прошедшего и дал ей энергию действовать для своего будущего.

Чувству нельзя было давать воли: нужна была сухость, даже холодность.

Густав в то же время написал своему нотариусу, чтобы тотчас же по получении из Ниццы письма явился к Нишетте и передал ей все назначенное. Он не хотел, чтобы она сама хлопотала о получении денег: тогда она отказалась бы от них, как от милостыни.

Через три дня по отправлении этого письма, Густав получил письмо Нишетты, писанное ею в день его приезда в Ниццу. Бедняжка не думала, что прежде чем она получит ответ, между ней и Густавом будет уже все кончено. Письмо ее дышало искренностью и надеждами...

Между тем приготовления к свадьбе шли своим чередом. Имена помолвленных были уже оглашены в церкви.

Ответ Нишетты Густав получил в самый день свадьбы. Он решился было не распечатывать письмо, думая отложить на несколько дней его чтение; но не мог противостоять желанию узнать, что пишет Нишетта, и распечатал.

Ответ ее был очень прост. Вот что писала Нишетта:

*«Прочитав ваше письмо, Густав, я не хотела отвечать вам — так мне тяжело было. Я боялась сойти с ума, боялась, что дурно воспользуюсь вашим позволением последний раз писать к вам и все письмо наполню упреками. Я как-то дико смотрела на все меня окружающее: вы мне представлялись во всем, и я не могла поверить, не могла вообразить, что уж я более вас не увижу.*

*Но перед моими глазами было ваше письмо — я не могла сомневаться.*

*Густав, я много плакала... теперь я несколько успокоилась и могу отвечать вам.*

*Упреков делать не стану, да и не за что их вам делать. Наскучать вам своим горем тоже не стану: это ни к чему не послужит. Я себя не обманывала: я знала, что придет время, вы женитесь — только не думала я, что так скоро...*

*Я вас очень любила.*

*Будьте счастливы, друг, от всей души вам желаю, и каждый день буду молить за вас Бога.*

*Я последую вашему совету; поеду к Шарлотте, в Тур. Это вы правду говорите: она развлечет меня; а каково-то мне будет расстаться с моей комнаткой, где я провела два лучших года жизни!..*

*Пусть исполнится ваша воля, Густав, и пусть любит вас ваша жена, как я вас любила, — вот все, что я прошу у Бога.*

*В этом письме посылаю вам несколько листочков последнего купленного мною в воспоминание нашего первого знакомства розана. Сохраните эти листочки.*

*Может быть, я и буду еще счастлива. Не думайте, не жалейте, Густав... что сделано, того не воротишь.*

*Сейчас вышел от меня ваш нотариус. Спасибо.*

*Прощайте, Густав, дружески жму вашу руку.*

*Нишетта».*

— Сколько горя-то она перенесла перед этим письмом, — сказал Густав.

Он был прав: Нишетта много страдала. Да и Густав не мог одолеть волнения. Сначала он хотел разорвать письмо из боязни, чтоб его не нашли; потом под влиянием какого-то смутного суеверия решился его сохранить, поцеловал розовые листочки и положил их в молитвенник Лорансы.

Через два часа Лоранса де Мортонь уже называлась г-жою Домон.

Почти в то же время в Париже женщина, покрытая вуалью, с глазами, покрасневшими от слез, садилась в дилижанс, отправлявшийся в Тур.

Эта женщина была Нишетта.

Куда нам отправиться, читатель? За дилижансом ли, в котором уезжала Нишетта, или за свадебным поездом Домона?

Последуем, как эгоисты, за счастливыми.

Густав и все его окружающие были счастливы.

На деревьях выбегали первые листья, весеннее солнце сменило непродолжительные холода. Воротилась весна; для Эдмона воротилось здоровье.

В Ницце все знали о болезни Эдмона, и все приняли участие в его выздоровлении. Поздравляли г-жу де Пере, поздравляли Дево; нельзя было видеть без участия молодого человека, еще бледного и худого, но уже улыбавшегося с надеждою, возле молодой женщины, преданной ему и прекрасной.

Свадьба Густава была как бы второю свадьбою для Эдмона. Она напоминала ему его свадьбу и с его выздоровлением будто налагала на него новые обязанности в отношении к Елене.

Густав возле Лорансы, Дево возле г-жи де Пере, все молились с надеждою и благодарностью. Слезы были на всех глазах.

— Разве твой муж опять сделает такую же глупость, как тогда, — сказал доктор дочери, — а вообще теперь нечего бояться. Он спасен.

Для Эдмона открывалась новая жизнь, не отравляемая беспокойною мыслью.

Сердце его бежало навстречу впечатлениям: все его занимало от дома до церкви и потом от церкви до дома. Весна отражалась в его сердце. Распускаящиеся на слабых еще стебельках цветы, листья, покрывавшие уже деревья, теплый весенний воздух — все напоминало его положение.

Взгляд Елены довершал его обаяние; вместе с здоровьем ему возвращалась любовь.

Вместе с жизнью тела — жизнь духа.

Кровь обращалась в его венах свободно; он легко дышал и смотрел с наслаждением на все его окружавшее. Он будто говорил бегавшим по дороге детям: «Скоро и мне можно будет так же бегать!..» Все его счастье было впереди. Он, как победитель, шел, предшествуемый трубами и литаврами. В нем и кругом него все цело, улыбалось, пело.

Новые стремления поднялись в нем. Десять месяцев, проведенные с Еленой, исчезали, как минута, перед обещанными ему многими годами. Прошедшая любовь казалась ему ничтожною в сравнении с кипевшею в нем теперь. Он мечтал об Елене, как о прекрасной невесте, до тех пор ему недоступной.

Он был более чем влюблен; он себя чувствовал поэтом. Все свои впечатления выражал он, как художник, с замкнутою стройностью и полнотою. Никогда еще не был он так вполне счастлив.

Ограничивать будущность свою двумя годами, с каждым минувшим днем повторять: «Еще шаг к смерти», выстрадать предстоящие страдания до времени, свыкнуться с мыслью, что придется скоро оставить жизнь, молодость, мать, жену — и потом вдруг возвратиться к надежде снова очутиться в среде, исполненной очарований, снова уверовать в жизнь — разве это не счастье, счастье полное и невыразимое, не признавать которое было бы неблагодарностью, оскорблением Бога?

Самый домик, в который входили эти люди, казалось, проникнут был счастьем:

отворенные окна весело выставляли лучам солнца свои цветы. Жимолость обвивала стены; проходивший мимо не мог видеть без удовольствия этот белый с зелеными ставнями домик, из которого, как из гнезда, будто слышалась веселая песня.

Не думая, чтобы когда-нибудь столько счастливых собиралось под одной кровлею, Густав наслаждался в действительности воспоминаниями и надеждами Эдмона. Женившись на Лорансе, он удивлялся, как мог жить до этого времени. Ее чистая первая любовь, светлая, южная весна пробудили в нем новые, неведомые ему до тех пор чувства.

Каждое утро Густав и Лоранса садились на лошадей; Эдмон и Елена у окна провожали их глазами до тех пор, пока наши всадники не исчезали в облаках пыли, поднятой их лошадьми.

Главнейшими занятиями для них были музыка и чтение: Гюго, Ламартин и Альфред де Мюссе были любимыми поэтами, Шуберт, Вебер и Скудо — любимыми композиторами.

Лоранса читала, Елена пела — Эдмон приходил поминутно в восторг. Любовь и мечты поэтов, страстные и тихие мелодии композиторов находили в его сердце полнейший отголосок, и он готов был вечность прожить при таких условиях.

Елена с Лорансой легко и искренне подружились; они поочередно стали поверять одна другой свои мысли и впечатления. Молодым замужним женщинам есть о чем поговорить между собою, когда они дружны и обе равно любимы. И зато как очаровательны эти вечерние разговоры, эта наивная передача новых, едва прочувственных впечатлений!

Елена рассказала Лорансе, как она встретила Эдмона, как она, узнав о его болезни, жалела о нем, как потом решила, что эту встречу устроило само Провидение, вручившее ей будущность больного и наложившее на нее ответственность за счастье немногих остающихся ему дней.

— Все это ваш муж устроил, Лоранса, — говорила она, — он дал мне решимость не принадлежать никому, кроме Эдмона. Я Густаву обязана своим счастьем. Бедный Эдмон! Я еще не знала, любила ли его; теперь благодарю Бога за свою решимость. Вы поймете это: я за него вышла с роковым убеждением, что через каких-нибудь два года он умрет и в молодости оставит меня вдовою — а теперь вдруг он спасен, нам предстоит такая же, как и другим, будущность, горизонт наш расширился, и нам пророчат долгие годы! Оба мы молоды, оба богаты, любим друг друга, может быть, сильнее, чем в первый день нашей свадьбы, с такими, как вы, друзьями, с таким отцом, как мой, с такою матерью, как г-жа де Пере — чего же желать нам еще и чего бояться?

— Да, мы все вполне счастливы, — отвечала Лоранса.

— И мы теперь никогда не расстанемся, мы составим одно семейство. Хотите? Наши мужья дружны, как братья.

— Мы будем дружны, как сестры, — отвечала г-жа Домон, обнимая Елену.

— Из Ниццы мы выедем, — продолжала Елена, — ваш отец не любит сидеть долго на месте. Мы отправимся путешествовать; сегодня здесь, завтра там; нас связывают любовь, дружба, и мы везде будем счастливы.

Г-жа де Пере часто вмешивалась в их разговоры. Так как вся жизнь ее была в жизни сына, то она более ничего не требовала, как только сопровождать их, уверенная вполне, что с ними ей будет везде хорошо.

Лечение Эдмона продолжалось с успехом почти невероятным. С каждым днем укреплялось здоровье больного: щеки покрывались румянцем, лихорадка пропала, сон был спокоен. Последний признак болезни — несколько меланхолическое настроение духа — с

каждым днем исчезал.

Месяцев через пять по приезде доктора в Ниццу, он сказал однажды Эдмону:

— Ну, вы теперь совершенно здоровы, а мне нужно к моим больным, которых я для вас оставил в Париже.

Эдмон и Елена переглянулись.

— Стало быть, нечего больше и бояться? — спросила молодая женщина.

— Повторяю еще раз: нечего.

— И в Париже Эдмон может жить так же, как в Ницце?

— Может.

— Так отчего же и нам не поехать с тобою?

— Я буду очень рад.

— Нас здесь ничто не удерживает, ни нас, ни Густава с женой, мы не расстанемся с вами, — сказал Эдмон, взяв доктора за руку, — разлука с вами принесет нам несчастье.

— Так едемте все.

— Как я буду радоваться снова, увидав нашу комнатку, — сказала Елена, обнимая мужа, — комнатку, в которой мы так любили друг друга и так еще будем любить, — не правда ли?

Ответом был, разумеется, поцелуй.

Было положено, что Густав и Лоранса поселятся в том же доме, если позволит помещение; если нет, на той же улице Трех братьев, и вообще не расстанутся и в Париже.

Через два дня две почтовые коляски стояли у белого домика.

Расставаясь с ним, Елена проронила несколько слезинок. Какое-то смутное предчувствие говорило ей, что в нем она оставляет часть своего счастья. Нужно ли объяснять все ее воспоминания и надежды перед отправлением?

Лоранса, наследовавшая от отца склонность к кочующей жизни, никогда не жалела покидаемых мест.

— Мать, — тихо сказал г-же де Пере Эдмон, — скажи, что проездом ты хочешь быть в Туре.

— Зачем? — спросила г-жа де Пере.

— Мне нужно навестить одну пустынную.

Г-жа де Пере исполнила желание сына. Приехали в Тур.

Выходя из кареты, Эдмон тихо сказал Густаву, не спрашивавшему, но уже знавшему намерение своего друга:

— От тебя сказать что-нибудь Нишетте?

— Ты к ней пойдешь? — сказал Густав.

— Да, я должен.

— Пожми ей от меня руку; больше ничего.

— А ты не пойдешь со мной?

— Лучше пусть меня не видит!

Эдмон справился, где магазин Шарлотты Гуссен. Ему указали улицу.

Это был маленький, но со вкусом устроенный магазин чепчиков, кружев, лент и проч.

Не входя еще, Эдмон заглянул в окна.

Нишетта сидела за прилавком. Бедная девушка была очень бледна и вся в черном, как в трауре. Она работала.

«Сколько перенесла бедняжка, — подумал Эдмон, — с тех пор, как я видел ее

последний раз, вот так же за работой — у другого окна!..»

Он вошел.

Нишетта подняла голову и, узнав Эдмона, вскрикнула. Эдмон хотел обнять ее, она сама бросилась к нему на грудь, заливаясь слезами.

Сильнее всяких слов говорило ее волнение.

— Ну как вы теперь, Эдмон? Здоровы? — спросила Нишетта, несколько оправившись и с твердым намерением не упоминать о Густаве.

— Меня вылечили, Нишетта, я совсем здоров.

— Слава Богу! Уж я как вас жалела, сколько молилась за вас!

— Добрая Нишетта!

— Вы одни здесь?

— Нет, с женою, с...

— С кем? — вырвалось у побледневшей модистки.

— С матерью.

По интонации ответа Нишетта поняла, что и Густав с женою были в Туре и что Эдмон не сказал ей этого, видя, что она побледнела.

— Вы едете в Париж?

— Сейчас едем. Я только заехал в Тур, чтобы обнять вас, Нишетта, и чтобы сказать вам, что люблю вас по-прежнему.

— Не проходит дня, чтобы я не вспоминала о вас и о том времени... когда виделась с вами так часто. Помните наши пирушки на улице Годо? Для меня это было счастливое время.

Слезы опять выступили на глазах Нишетты, да и Эдмон плохо владел собою.

«Как решился Густав ее оставить?» — задал он себе вопрос.

— Не будем говорить об этом, — сказала Нишетта, прикладывая платок к глазам. — Вас по-прежнему любят... жена, мать?... Здоровы они?

— Слава Богу.

— Будьте, Эдмон, счастливы. Дай Бог!

— Ну, а вы как, Нишетта? Счастливы?

— Да, — отвечала она со вздохом, — сколько могу; Шарлотта очень добра, заказов у нас всегда довольно; да, я счастлива.

Если бы Нишетта, рыдая, жаловалась на свою участь, ее жалобы и рыдания не отозвались бы так тяжело в сердце Эдмона, как эти простые, дышавшие покорностью слова.

Во все время разговора имя Густава не было произнесено ни разу; но во все время оно было в голове и в сердце модистки.

Ей мучительно хотелось, чтобы Эдмон заговорил о Густаве; но Эдмон не решался, она стала бы расспрашивать, а что можно отвечать про счастье человека оставленной им женщине? Не хотел он тревожить ее чуткие воспоминания.

Когда две почтовые коляски выезжали из Тура, женщина под вуалью стояла, скрывшись за деревом и полагая, что ее не видно с дороги.

— Видел? — тихо спросил Эдмон у своего друга.

— Что?... Да... видел, — отвечал, запинаясь и с волнением, Густав. — Нишетта? Да?

— Как она изменилась, Густав!

— Бедная девушка! — прошептал Домон.

И слеза скатилась с его ресниц.

Читатель!

Если ты веруешь, что поэзия юности до могилы сопровождает человека; если не все твои мечты разлетелись; если ты хочешь видеть только хорошую сторону жизни;

если отвергаешь смешение добра и зла в человеке; если ничто не оскорбляло тебя в жизни, если ты искренно дружен десять лет с одним человеком, если жена тебя не обманывала, если ты сумел сохранить во всей чистоте и силе свою любовь к ней, если не бросал ты назойливому и неотвязному нищему — своему прошедшему — его милостыню — слезы;

если ты полагаешь, что молодой, любимой жены, независимого положения, денег и здоровья довольно человеку для счастья, закрой, добрый человек, эту книгу — ты прочитал уж ее последнюю главу; мне тебе нечего рассказывать, ты мне не поверишь; да я и сам не хочу смущать тебя, разрушать твои верования. Если герой мой на несколько часов доставил тебе сносное препровождение времени, радуйся тому, что он жив, здоров и что его любят.

Но если, напротив, ты немного отведал опыта жизни, если знаешь, что сердце наше не может постоянно питаться одними и теми же радостями, как желудок не может довольствоваться одною и тою же пищею, если могила похитила что-нибудь тебе дорогое, если сомнение подточило кое-какие из твоих верований, если ты равнодушно проходишь мимо женщины, на которую не мог смотреть некогда без неизъяснимого трепета, если утратило для тебя смысл имя, от которого прежде тебя бросало то в жар, то в холод, смотря по тому, кем и как оно было произносимо, — тогда другое дело! Тогда поговорим, мой читатель; мы друг друга пойдем, и, дочитав до конца эту книгу, ты, может быть, скажешь вместе со мною:

«Грустно, да что ж делать? Правда».

По приезде Эдмона в Париж трудно было найти в этой столице счастливого человека счастливее его. Проездом он побывал в Туре, повидался с Нишеттой, заплатил ей долг сердца, и в комнату, где узнал первые радости супружества, входил богатый надеждами, свободный от упреков.

Воспоминания любви приветствовали его в этой комнате, как хор птиц. Все предметы, которые он уже не надеялся видеть, ему улыбались. Он испытывал то же, что испытывал Густав в маленькой комнатке Нишетты, но к его впечатлениям не примешивалось тяжелое чувство: боязнь огорчить некогда любимую и любившую его женщину; Эдмон любил почти сильнее, чем прежде.

Не остановиться ли нам, читатель? Путь Эдмона усеян цветами: не будем подкапываться под его счастье и отыскивать в нем темные пятна; не будем следить за каждым шагом, отдаляющим нашего героя от иллюзий и приближающим к беспощадной действительности... Не лучше ли, по обычаю старых романистов или даже современных нам авторов водевилей, заключить нашу и без того длинную историю законным браком? Развивай ее дальше, если желаешь: предположи, что молодые супруги будут вечными любовниками, как Филемон и Бавкида, и что у них, как у крестьян Флориана, будет великое множество детей.

Другой вопрос — верно ли это будет истине. Молодость еще не составляет всей жизни,



так же как весна не составляет целого года. Следует ли постоянно твердить людям: «Идите с миром и без боязни; жизнь хороша: нет в ней ничего ложного, ничего изменчивого!» Или следует предостеречь путника, что на него могут напасть воры и ограбить его? Путник поблагодарит нас и примет свои предосторожности.

Задача романа — верное отражение действительной жизни; выполнив эту задачу, автор достигает самой цели романа, нравственного влияния на читателя. Роман должен воспроизвести обе стороны жизни, показать оба лица этого нравственного Януса, называющегося человеческим сердцем. Если мы возьмем для этого волшебное стекло, в котором все будет отражаться в ложном виде: деревья будут зимой покрыты зелеными листьями, у старика будут черные, густые волосы — мы погрешим против истины, вместо пользы сделаем зло. Проводник (а роман во всяком смысле и во всех отношениях проводник) берется указывать дорогу: пусть же он предостережет путешественника, если, ступив на цветы, можно провалиться в пропасть.

Возможно ли на земле продолжительное счастье? Говорим положительно: нет! Из двенадцати месяцев, составляющих год, шесть месяцев природа лишена цветов и солнца.

Ни один из великих истолкователей сердца человеческого не решался продолжать счастье своего героя далее возможных пределов; все склонялись перед роковой необходимостью, оградившей жизнь человека, с одной стороны, надеждою, с другой — сожалением.

Возьмем три лучшие книги, книги сердца, молодости и страсти: Павел и Виргиния, Вертер и Манон Леско.

Ни Бернاردэн де Сен-Пьерр, ни Гете, ни аббат Прево не оставили своих героев жить в той среде счастья, в которую их поставили. Читатель сочувствует их страдальческим личностям, хочет, чтобы они жили, но они умирают, и тем полнее вызываемое ими сочувствие.

Положим, что Виргиния осталась в живых и вышла замуж за Павла, что Вертер не застрелился, а сочетался законным браком с Шарлоттой, что Манон перестала обманывать шевалье де Грие и живет с ним так, как он хочет, — на несколько минут мы, может быть, истинно порадуемся счастьем этих любящих, симпатичных личностей, но только на несколько минут. Проследим до конца их счастье и посмотрим, долго ли оно продолжится и что из него выйдет?

Мы заметим, что невозможна продолжительность такого счастья, что в самой своей полноте и зрелости носит оно семена разрушения и что только смерть могла увековечить эти полные очарования образы любви, молодости и поэзии, что жизнь загрязнила бы их и преобразила безжалостно...

Забудем, действительно, что все три поэта умертвили своих героев, и посмотрим, что бы сделала с этими героями жизнь.

Перед нами Павел и Виргиния — влюбленная чета, полная молодости, чистоты, поэзии и страсти. Счастливые любовники прожили определенный период, и вот — волосы их поседели, спины согнулись, пожелтели щеки, выпали зубы...

Вот Вертер и Шарлотта, согбенные, покрытые морщинами, трясущиеся от старости, поют разбитыми голосами:

«Как быстро промелькнули наши любовь и молодость!»

Вот Манон и шевалье де Грие — олицетворение пылкой чувственной любви, — их невозможно узнать: старость их обезобразила, поразила недугами, приковала к старческим

креслам, парализовала, сделала живыми, неприятными для зрения трупами...

Все это сделала жизнь; живые олицетворения поэзии, молодости и страсти обратила в развалины, в могилы, под которыми даже узнать трудно, что погребено в них.

Да и как узнать? Попросите, например, Вертера повторить его страстное обращение к Шарлотте: он подставит к своему уху рожок, скажет: не слышу; повторите вопрос ваш, и он тяжело и бессмысленно покачает в ответ головою.

И более от него ничего не добьетесь!

Да, чтобы не омрачить светлого впечатления, оставляемого этими типами, — должно было возвратить их небу с их любовью и юностью: маски, снятые с них по смерти, напоминают лучшие минуты их жизни, улыбка цветет на их бледных губах; смерть их представляется упоительным сном, и у их изголовья теснятся рай светлых призраков и мечтаний.

Но, если наш герой остался в живых, читатель имеет полное право спросить: что из него сделала жизнь?

Автор должен быть верен истине, верен самому себе. Он не может в уста пятидесятилетнего старика вложить страстные речи двадцатилетнего влюбленного.

Мы до сих пор, сколько могли, старались быть верными истине. Юность Эдмона была окружена мечтами, поэзией, любовью; но ему угрожала смерть ранее двадцатилетнего возраста.

Мать, жена, друг — соединение всех привязанностей, услаждающих жизнь человека, — плакали у его изголовья. Все просили ему одного блага: жизни.

Стало быть, жизнь — все! Свободно дышать, есть, пить, пользоваться всеми своими способностями и силами — вот первое и единственное благо. Возвратив это благо больному, стоявшему уже одною ногою в гробу, как Эдмон, возвратив вместе с здоровьем мать, жену, друга, молодость, богатство, мы его окружили всеми условиями полного благополучия.

Эдмон выздоровел.

Пропустим два года. Повторяем опять: мы не изобретали романа; он сложился в действительности.

Через два года после описанных нами событий мы находим оба семейства в Париже, в столовой г-жи де Пере, за обедом.

Розовая, беленькая малютка сидит между Густавом и Лорансою.

Действие происходит в день свадьбы Эдмона и Елены.

Эдмона почти невозможно узнать.

Вместо знакомого нам бледного, худощавого молодого человека сидит видный, красивый мужчина с усами и с бородою.

Дево не налюбуется этой переменою — произведением его искусства.

— Сегодня три года вашей свадьбы, дети, — весело улыбаясь, говорит доктор. — Как незаметно прошли три эти года!

— И как счастливо! — отозвалась г-жа де Пере, улыбаясь сыну.

— Полное выздоровление, — продолжал доктор, — это один случай на сто. За здоровье Эдмона!

Все подняли бокалы с шампанским и выпили.

Будто в подтверждение слов доктора, Эдмон залпом осушил свой бокал.

Отец Елены смотрел на него с гордостью и удовольствием.

— Исключительный случай! — говорил он. — Выпив этот бокал три года тому назад,

вы бы на другой же день стали харкать кровью и неделю по крайней мере пролежали бы в лихорадке. Как действительна польза медицины, как очевидны производимые ею чудеса! Каждый подобный случай во мне увеличивает веру в Бога.

— А меня, доктор, вы вылечите? — спросила г-жа де Пере. — С самой болезни Эдмона у меня болит сердце.

— Это не в руках медицины, — отвечал Дево. — Вы занемогли нравственную болезнью, вылечить вас может только счастье. Вы теперь счастливы?

— Чего же еще желать мне?

— Так бояться решительно нечего.

Во все время этого разговора Елена внимательно смотрела на мужа. Эдмон ел с большим аппетитом и на разговор тестя и матери обращал очень мало внимания.

— Ты сегодня где вечером? — спросил он вдруг у Густава.

— Здесь, — отвечал Домон, — а ты?

— Я обещал быть у де\*\*\*.

Елена бросила почти умоляющий взгляд на Эдмона; Эдмон не глядел на нее; взгляд был замечен Густавом.

— Я тебе не советую уходить, — сказал последний, подойдя к Эдмону, когда все встали из-за стола.

— А что?

— Это огорчит Елену.

— Елена ребенок, — отвечал Эдмон. — Всегда тебя слушать, значит, никогда не выходить из дому.

— Ей можно извинить. Она так тебя любит!

— Женщины, мой друг, так уж созданы: рано или поздно их любовь обращается в тиранию. Что тут дурного, что я сделаю визит де\*\*\*? Он у меня несколько раз был.

— Елена ревнует.

— К кому?

— К его жене.

— Елена дурит. Ревнует ко всем женщинам без разбору.

В это же время Елена подошла к Лорансе.

— Вот, — сказала она, — сегодня опять уходит.

— Не огорчайтесь, — отвечала Лоранса, — вы себя только расстраиваете. Эдмон любит вас больше, чем когда-нибудь.

— Бог знает!

Елена невыразимо грустно вздохнула.

К разговаривавшим подошла г-жа де Мортонь.

— О чем вы это? — тихо спросила она.

— Елена грустит, — отвечала Лоранса, — что ее муж часто бывает у де\*\*\*. Ей кажется, что Эдмон ухаживает за его женою.

— Пусть идет, — отвечала г-жа де Мортонь, — оставьте ему полную свободу. Это лучшее средство, чтобы он вернулся к вам. Будете удерживать, только раздражите его. Вам не все ли равно, что он ухаживает за г-жой де\*\*\*? Ведь вы знаете, что он любит одну вас.

— Грустное утешение! — проговорила Елена сквозь слезы.

— Посмотрите, как он поправился и поздоровел, — говорила доктору мать, указывая на закуривавшего сигару сына. — Как я счастлива, доктор, и как много я вам обязана!

— Ты не пройдешься со мною немного? — сказал Густаву Эдмон, взявшись за шляпу.

— Нет, я останусь с дамами.

— Так прощай.

— Ты уж уходишь? — спросила Елена, видя, что Эдмон совсем собрался.

— Да.

— Скоро вернешься?

— Так, через час.

— Точно через час?

— Точно.

Елена подставила ему лоб, и Эдмон поцеловал ее.

— Не уходи сегодня, — тихо сказала она, все еще надеясь удержать его.

— Что это тебе так хочется, чтобы я непременно сидел дома?

— Сегодня три года, как мы обвенчаны; можно этот день посвятить жене.

Эдмон нетерпеливо пожал плечами и бросил шляпу на стол.

— Ступай, если непременно хочешь, — сказала Елена.

— Не пойду я, когда ты требуешь, чтоб я остался.

— Я не требую вовсе, я тебя прошу... сегодня день нашей свадьбы, все наши друзья здесь...

— Я не знал, что сегодня день нашей свадьбы.

— Забыл! Ты уж меня, стало быть, не любишь?

Эдмон взялся за шляпу.

— Ну, если еще смотреть на чувствительные сцены, так, право, незачем оставаться.

— Ступай, я тебя не удерживаю; я, точно, виновата. Обними меня еще раз. Так ты через час вернешься?

— Через час, ровно.

Елена ему улыбнулась, и Эдмон вышел.

— А засидится до полночи! — прошептала она.

— Что, мое дитя? — спросила Елену г-жа де Пере. — Что, вы будто грустны? Что с вами?

— Ничего, — отвечала Елена, — так.

— Что Эдмон-то уходит, так вы этим огорчаетесь? Полноте! Ведь он знает, что вы здесь не одни, а то бы он не ушел. Ведь он еще молодой человек! В двадцать шесть лет нужно же иметь какие-нибудь развлечения.

Г-жа де Пере, по обыкновению, всегда оправдывала сына. Она желала только счастья и здоровья Эдмону. Елена знала, что не найдет в ней сочувствия, и никогда в тяжелые минуты не обращалась к ней.

Густав, де Мортонь с женою и доктор сели за вист. Вист занимал очень мало Домона, он играл только для удовольствия других.

Перед началом игры он поцеловал жену и ребенка.

Лоранса, с ребенком на руках, села возле Елены на диван; г-жа де Пере занялась чтением.

Елена поминутно посматривала на часы. Прошло полтора часа: она встала.

— Куда вы? — спросила Лоранса.

— В свою комнату...

— Так вместе пойдете.

— Пойдемте.

Елена была так бледна, так печальна, что Лоранса боялась оставить ее одну.

Войдя в свою спальню, Елена опустилась на стул, закрыла руками лицо, и более не стесняемые рыдания вырвались из ее груди.

— Боже! Как я несчастна! — говорила она, заливаясь слезами.

— Ну, друг мой, сестра, не плачь, — утешала ее Лоранса.

— Он эту женщину любит, — повторяла Елена, — я знаю... хотел быть через час, а вот прошло сколько времени!

— Вы напрасно тревожитесь... его что-нибудь задержало.

— Я бы ничего не говорила, если бы только это, — отвечала Елена, — но Эдмон вообще переменялся. Если бы вы знали его прежде, вы бы не узнали его теперь. Прежде он дорожил моим каждым словом, не позволял даже, чтобы горничная до меня дотрагивалась. Теперь я сижу одна целые дни. Правда, теперь он надеется жить, тогда думал умирать. Близость смерти, может быть, только и внушала ему любовь ко мне. Бывают минуты — я этому верю. И мне думается тогда: лучше бы отец не спасал его! Он бы умер, унося в могилу любовь ко мне, а теперь, теперь, повторяю вам, Лоранса, я убеждена, что он любит другую.

Вошел Густав.

— Я видел, как вы обе вдруг ушли, — сказал он. — Разве что-нибудь случилось?

Лоранса указала на Елену и отвечала тихо:

— Она плачет.

— Густав, — сказала Елена, взяв его за руку, — вы не огорчаете свою жену, вы не покидаете...

— Вы ребячитесь, — заметил Густав, — ведь Эдмон вас любит.

— Я ей то же говорю, — прибавила Лоранса.

Но в ее взгляде, брошенном при этом на мужа, можно было прочесть, что она сама сомневается в истине слов своих.

— Останься с нею, — шепнул ей Густав, — я пойду за Эдмоном и объяснюсь с ним решительно; так это оставаться не может.

— Ступай, мы будем здесь все время.

Густав пожал руку жены и вышел.

Г-н де\*\*\*, у которого был Эдмон, жил на Итальянском бульваре. Густав был с ним знаком и потому в его посещении не было ничего предосудительного.

— Г-на де\*\*\* нет дома, — отвечал Домону слуга, — госпожа дома.

— Доложи.

Густав нашел Эдмона и г-жу де\*\*\* наедине. Оба они выразили на лицах удивление. Густав решил разом покончить.

— Прошу вас извинить меня, — сказал он, обращаясь к г-же де\*\*\*, — жена Эдмона больна, и я, зная, что он здесь, пришел за ним.

Если было уже поздно для того, чтобы войти к даме, точно так же поздно было у нее оставаться.

Г-жа де\*\*\* поняла намерение Густава и слегка покраснела.

— Я вас не смею удерживать, — сказала она, обратясь к Эдмону, — потрудитесь передать мой поклон вашей супруге; надеюсь, что она больна не опасно.

— Это еще что такое? — нетерпеливо спросил Эдмон, когда друзья были уже на улице.

— Ты нехорошо поступаешь по отношению к Елене, — отвечал Домон твердым

ГОЛОСОМ.

— И ты взял на себя обязанность делать мне замечания?

— Да.

— Напрасно, ты мне ничего нового не скажешь.

— Ты выслушаешь и то, что я тебе скажу.

— Ты мне друг, это правда. Я слушаю.

— Ты обманываешь Елену.

— Это опять-таки мое дело; мое, а не чье другое.

— Это тоже и мое дело, потому что три года назад я просил Елену согласиться быть твоею женою; ты тогда любил ее; ты ко мне бросился на шею, когда я объявил тебе о ее решении — выйти за тебя замуж.

— Три года тому назад...

— Да, три года.

— А в три года, друг мой, много воды утекло. Тогда я харкал кровью и полагал, что проживу только два года; теперь я так же здоров, как ты, и жизнь представляется мне в ином свете. Я и теперь люблю Елену, но люблю как жену, с которой день за днем проведено три года. Не всегда же валяться у ног жены, как в первые дни брака. Первые страсти сменяются тихую привязанностью, дружбою, и повторяю еще раз: рассчитывая, что проживешь только два года, можно много наделать вещей, которые самому потом кажутся смешными.

Мне двадцать шесть лет, я женат; так ведь двадцать шесть, Густав, а не шестьдесят, чтобы, кроме жены, не смотреть ни на одну женщину!

— И ты готов принести ее в жертву пустому капризу?

— Такова жизнь, Густав; не будь окружена Елена людьми, которые смущают ее, она бы не считала себя жертвою.

— Это ты про меня говоришь, Эдмон?

Де Пере не отвечал ни слова.

— Так у тебя ничего не осталось в сердце? — продолжал Густав. — Ты забываешь любовь и дружбу! Это нехорошо! Это неблагодарно!

— Ты разве вспоминаешь о Нишетте, а ведь любил ее? Нет, не вспоминаешь.

— Да ведь ты обязан Дево жизнью: из признательности к нему, если не из любви к Елене, ты должен помнить о счастье его дочери. Ты не отвечаешь?

— Что ж тебе отвечать?

— Как что? Отчего неблагодарен?

— Густав, я об этом думал и почти пришел к тому заключению, что мне не за что благодарить Дево.

— Он тебе жизнь спас...

— Я тебе говорю, иногда бывают минуты, мне кажется, лучше бы умер я два года тому назад; только мать не хотелось бы огорчить, а лучше! Умер бы я, сожалея о жизни, с верою в чистую любовь, с убеждением, что есть на земле счастье... А теперь — сознаться тебе, Густав? — кажется мне, что я вовсе не создан к семейной жизни; чувствую, что и Елена несчастна; да что ж делать? Я переродиться не могу. Может быть, я и любил-то ее только потому, что мне и двух лет жить не оставалось... Я недавно прочел письмо, что писал к ней, узнав о ее согласии: смешно показалось, совсем смешно!

В два года я растратил весь определенный человеку капитал счастья; теперь, когда мне еще, может быть, долго предстоит жить, — я в положении разорившегося мота, которому

грозят кредиторы. Часто мне бывает до того тяжело, до того скучно, что я готов идти Бог знает куда, только чтоб не сидеть дома.

Елена меня любит, — я знаю — она еще хороша, преданна, ей я обязан жизнью, умри я — завтра же умрет и она... я ее уважаю как святую женщину, благословляю как мать, но... Что ж делать, Густав, — говорю правду: я ее не люблю и не любил, кажется, никогда.

— Бедная Елена! — сказал Густав.

— Я и сам ее жалею.

— Но счастлив ли, по крайней мере, ты?

— Ты мне поверишь, Густав?

— Ну?

— Сколько бы лет ни предстояло мне впереди, я их все отдам за пять таких месяцев, какие я провел первое время после женитьбы.

Они дошли до улицы Трех Братьев. Время от времени Эдмон проводил рукой по лицу, будто отгоняя какую-то неотвязную мысль.

«И он прав, — думал Густав в то же время. — Условия жизни одинаковы для всех: мы оставляем все, что любили прежде, — сожалеем и все-таки оставляем... Я ему не могу делать упреков. Он заставляет страдать Елену — а разве Нишетта из-за меня не страдала? Хорошо ли я сделал?»

Он отворил дверь в комнату Елены; Лоранса с ребенком на руках вышла к нему навстречу.

Никогда не казалась ему она так чиста и прекрасна. Ее улыбка была ответом на вопрос, зародившийся в уме его.

Эдмон подошел к Елене и протянул ей руку; бедная женщина бросилась обнимать его.

Сердце Эдмона не забилося ни сильнее, ни чаще.

---

Прошло еще десять лет.

Г-жа де Пере умерла, улыбаясь сыну, с уверенностью, что он счастлив. Смерть ее, разумеется, не вылечила его от разочарования. Теперь де Пере уж и не говорит о нем.

Де Мортонь и жена его еще живы, но уже у г-жи де Мортонь паралич.

Доктор Дево очень хорошо себя чувствует; излечение Эдмона увеличило его практику.

С болезнью г-жи де Мортонь Густав и Лоранса переехали в Ниццу; сын их в первый раз причащался в тамошней маленькой церкви.

Эдмон префектом в городе\*\*\*.

Какой скромный выход нашли все его стремления!

Все свободное, время он посвящает сорокалетней жене какого-то адвоката. Связь эту знает весь город. Елена тоже знает — и смеется!

В Туре на главной улице можете видеть вывеску:

*Моды и платья.*

*ЛАКРУА.*

Эта Лакруа — наша общая знакомая Нишетта. Через два года по приезде в Тур она

вышла замуж за сына книгопродавца, магазин которого был против магазина Шарлотты.

Чтобы рассеять неутешную модистку, молодой человек приносил ей книги. От передачи книг дело дошло до передачи чувств, и благополучно кончилось законным браком.

Говорят, что они живут с примерным согласием.

У достопочтенной гувернантки Анжелики сделалась спинная сухотка, но «Кенильвортский замок» она, наконец, одолела.